

ВЛАДИМИР
НАБОКОВ
РОМАНЫ



Annotation

Четвертый англоязычный роман Владимира Набокова, жизнеописание профессора-эмигранта из России Тимофея Павловича Пнина, преподающего в американском университете русский язык, но комическим образом не ладящего с английским, что вкупе с его забавной наружностью, рассеянностью и неловкостью в обращении с вещами превращает его в курьезную местную достопримечательность. Заглавный герой книги — незадачливый, чудаковатый, трогательно нелепый — своеобразный Дон-Кихот университетского городка Вэйндель — постепенно раскрывается перед читателем как сложная, многогранная личность, в чьей судьбе соединились мгновения высшего счастья и моменты подлинного трагизма, чья жизнь, подобно любой человеческой жизни, образует причудливую смесь несказанного очарования и неизбывной грусти...

- [Владимир Набоков](#)
 - [ГЛАВА 1](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [ГЛАВА 2](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [ГЛАВА 3](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [ГЛАВА 4](#)
 - [1](#)

- [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
- [ГЛАВА 5](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
- [ГЛАВА 6](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
- [ГЛАВА 7](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)

- [42](#)
 - [43](#)
- [comments](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)

- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)

- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)

Владимир Набоков

ПНИН[{1}](#)

ГЛАВА 1

Немолодой пассажир, сидевший у окна неумолимо мчавшего его вагона по соседству с пустым креслом и напротив сразу двух пустых кресел, был не кто иной, как профессор Тимофей Пнин^[2]. Безупречно лысый, загорелый и гладко выбритый, начинался он с весьма внушительной коричневой лысины, очков в черепаховой оправе (скрывавших младенческое безбровие), обезьяньей верхней губы и массивной шеи, а также весьма могучего торса в тесноватом твидовом пиджаке, зато завершался он несколько разочаровывающе — парой тоненьких ножек (обтянутых фланелью и закинутых одна на другую) и хрупких на вид, почти женских ступней.

Его алые шерстяные носки с лиловыми ромбами были небрежно приспущены; консервативные черные оксфордские полуботинки обошлись ему не меньше, чем все остальные предметы его туалета вместе взятые (включая и яркой расцветки галстук). До 1940 года, в чинную европейскую пору своей жизни, он носил длинные кальсоны, заправленные внизу в скромных тонов со стрелками шелковые носки, которые удерживались на икрах, укутанных тканью, при помощи подвязок. В те времена приподнять слишком высоко брючину и открыть невольному зрителю белую полоску нижнего белья показалось бы Пнину столь же неприличным, как, скажем, предстать перед дамами без воротничка и галстука; ибо даже в те дни, когда дряхлая мадам Ру, консьержка убогого дома в Шестнадцатом округе Парижа, где Пнин, после побега из ленинизированной России и завершения в Праге высшего образования, на протяжении целых пятнадцати лет снимал квартиру, — даже когда мадам Ру, взобравшись к нему наверх для взимания квартиплаты, заставляла его при этом без faux col,^[1] чопорный Пнин прикрывал запонку на шее стыдливой рукой. Все изменилось в шальной атмосфере Нового Света. Ныне, в свои пятьдесят два, он был помешан на загаре, носил спортивные штаны и рубахи, а закинув ногу на ногу, старательно, нарочито и дерзко обнажал широченную полосу голый голени. Именно в таком виде мог бы он предстать сейчас перед случайным попутчиком; впрочем, кроме солдата, спавшего в одном конце вагона, и каких-то двух женщин, занятых младенцем в другом, больше никого в целом вагоне не было.

А теперь пора раскрыть секрет. Профессор Пнин сел не в свой поезд. Он не знал об этом, так же как не знал об этом кондуктор, который, проходя

по вагонам, уже приближался к местонахождению Пнина. В настоящий же момент Пнин был, в сущности, вполне доволен собой. Приглашая нашего друга прочитать в пятницу вечером лекцию в Женском клубе Кремоны — это примерно в двухстах верстах от Уэйндела, предоставившего Пнину университетский насест в 1945 году, — вице-президент клуба, некая мисс Джудит Клайд сообщила ему, что самый удобный поезд выходит из Уэйндела в 1.52 пополудни и прибывает в Кремону в 4.17; тем не менее Пнин — который, подобно многим русским, испытывал неодолимое пристрастие ко всякого рода расписаниям, картам и каталогам, который коллекционировал их, щедро набивая ими карманы с радостнободрящим чувством, что можно получить нечто, не платя ничего, и который испытывал особую гордость, самостоятельно разбираясь во всех этих головоломных расписаниях, — обнаружил в результате своих штудий крошечное примечание, имевшее отношение к еще более удобному поезду (отпр. Уэйндел 2.19, приб. Кремона 4.32); примечание указывало, что по пятницам, и только по пятницам, поезд два девятнадцать делает остановку в Кремоне на пути к отдаленному и более крупному городу, также украшенному благозвучным итальянским названием. На его беду, расписание это было пятилетней давности и несколько устарело.

Пнин преподавал русский в Уэйндельском университете, довольно провинциальном заведении, славившемся лишь искусственным озером посреди живописного университетского городка, увитыми плющом галереями, соединявшими корпуса, стенными росписями, на которых вполне опознаваемые профессора Уэйндела принимали факел знания из рук Аристотеля, Шекспира, Пастера и передавали его целой толпе чудовищного телосложения фермерских сыновей и дочек, да еще своим в высшей степени процветающим германским отделением, которое глава его доктор Гаген без ложной скромности именовал (с отчетливостью выговаривая при этом каждый слог) "университет в университете".

В осеннем семестре того самого года, о котором идет речь (1950), в переходную группу на курс русского языка записалась только одна студентка, пухленькая и старательная Кэти Кис, в продвинутую группу — один студент, который так и не предстал во плоти, оставив лишь свое имя (Иван Дуб), и целых три в процветающую начальную группу: Джозефин Малкин, чьи предки были родом из Минска, Чарльз Макбет, чья чудовищная память уже поглотила десяток языков и готова была погрести еще десять; а также медлительная Эйлин Лень, которой кто-то сказал, что к тому времени, когда одолеешь русский алфавит, в принципе уже можно будет читать в оригинале роман "Анна Карамазов". Как педагогу, Пнину

далеко было до этих изумительных разбросанных по всем уголкам университетской Америки русских дам, которые, хоть не получили никакой специальной подготовки, как-то все же ухитрились — благодаря своей интуиции, болтливости и материнской настойчивости — передавать колдовское владение этим трудным и прекрасным языком группам простодушносноглазых студентов в атмосфере песен про Волгуматушку, красной икры и чаепитий; с другой стороны, как педагог, Пнин не помышлял приближаться и к возвышенным аудиториям современной научной лингвистики, к этому аскетическому братству фонем, этому храму науки, где серьезных молодых людей учат не языку даже, а методу, при помощи которого они смогут научить других молодых людей преподавать этот метод; каковой метод, подобно каскаду ниспада с одной скалы на другую, перестает уже быть средством практической навигации, но, вероятно, в каком-то мифическом будущем сможет послужить инструментом для овладения эзотерическими диалектами — "бэйсик баск" и тому подобное, — которыми будут пользоваться лишь какие-то очень сложные машины. Несомненно, метод обучения, к которому прибегал Пнин, был и доморощенным и малосерьезным, ибо опирался на упражнения из грамматического сборника, составленного в некоем университете, намного превосходившем Уэйндел своими размерами, главой русского отделения — почтенным пройдохой, который и двух слов не умел связать по-русски, однако великодушно соглашался поставить свое почтенное имя под плодами чьих-то анонимных усилий. Несмотря на многие свои недостатки, Пнин обладал обезоруживающим старомодным обаяньем, которое, как доказывал его верный защитник доктор Гаген мрачному совету попечителей, и было тем изысканным заморским товаром, за который стоило выложить американские денежки. И хотя докторская степень в области социологии и политической экономии, которую Пнин не без помпы снискал в Пражском университете году в 1925-м, успела растерять к середине века свою докторскую степенность, Пнин не был вовсе уж неуместен в роли преподавателя русского языка. И любили его вовсе не за какие-то его специальные знания, а за эти его незабываемые отклонения от предмета, когда он снимал очки, чтоб устремить сияющий луч в прошлое, протирая стекла настоящего. Ностальгические экскурсии на ломаном английском языке. Лакомые крошки автобиографии. Как Пнин прибыл в Soedinyonnïe Shtatï (Соединенные Штаты). "Досмотр на корабле перед выгрузкой. О'кей! Ничего не имеете заявить таможене?" — "Ничего", О'кей! Теперь политические вопросы. Он спрашивает: "Вы анархист?" — "Я отвечаю, — здесь Пнин прерывает свой рассказ, чтобы предаться

уютному беззвучному веселью. — Первое, что мы понимаем под „анархизмом“? Анархизм практический, метафизический, теоретический, абстрактический, индивидуальный, социальный, мистикальный? Когда я был молод, — так я говорю, — это все для меня имело важнейшн значейшн. Таким образом, мы имели интереснейшн дискушн, вследствие которой я проводил две цельные недели на Эллис-Айленд^[3]", — брюшко рассказчика начинает сотрясаться; оно сотрясается; рассказчик корчится от смеха.

Бывали и представления посмешнее. С шутивно-таинственным видом готовя эту детвору к сказочному наслаждению, которое он сам когда-то испытал, и заранее обнажая при этом в невольной улыбке два неполных, однако еще великолепных ряда потемневших зубов, благодетель Пнин открывал затрепанную русскую книжку на том месте, где в нее загодя была вложена элегантная закладка из кожзаменителя; он открывал книжку, и тут выражение крайнего отчаянья нередко искажало его подвижные черты; изумленно раскрыв рот, он начинал лихорадочно листать книгу — взад и вперед, и проходило немало времени, прежде чем он находил нужную страницу — или же просто отмечал с удовлетворением, что страница была заложена правильно. Отрывок по его вкусу был обычно выбран в какой-нибудь старой и наивной комедии из купеческой жизни, состряпанной Островским чуть не сто лет тому назад, или в столь же древнем, но еще более устаревшем образчике банального лесковского зубоскальства^[4], где весь юмор заключался в искажении слов. Этот лежалый товар он преподносил скорей с добротным вкусом классической Александринки (петербургской драмы), чем со строгой простотой московского Художественного; но поскольку, чтоб оценить по достоинству то смешное, что еще оставалось в этих пассажах, надо было иметь не только солидное знание русского просторечья, но еще и недюжинное понимание литературы и поскольку горсточка бедных его учеников не обладала ни тем, ни другим, то чтец был здесь единственный, кто мог насладиться всеми изысками литературных ассоциаций текста. Колыхание, уже упомянутое нами в иной связи, теперь принимало размеры истинного землетрясения. Направляя лучи своей памяти (включив все огни и мысленно примеряя все маски) ко дням своей трепетной, восприимчивой юности (в сверкающий космос, что казался еще свежей и сохранней, оттого что история прикончила его одним ударом), Пнин опьянялся своими тайными винами, один за другим извлекая на свет образчики того, что его слушатели вежливо принимали за русский юмор. Через недолгое время он начинал изнемогать от этой потехи;

грушевидные слезы одна за другой стекали по его загорелым щекам. Как чертик из табакерки, выпадали вдруг не только его устрашающие зубы, но также и удивительной ширины розовые десны, и тогда рука взлетала ко рту, а широкие плечи продолжали еще сотрясаться и ходить ходуном. И хоть слова, долетавшие из-под танцующей лихо руки, становились теперь еще менее внятными и удобопонятными, полная его сдача на милость собственного веселья бывала поистине заразной. К тому времени, как сам он начинал изнемогать, студенты его уже были во власти безудержного веселья; механически, через равные промежутки доносились лающие восторги Чарльза, чарующая волна прелестного смеха преображала черты дурнушки Джозефин, а миловидная Эйлин растекалась в желе безобразных хиханек.

Все это, впрочем, никак не может изменить того факта, что Пнин сел не в свой поезд.

Как могли бы мы диагностировать этот прискорбный случай? Пнин, и это следует подчеркнуть особо, ни в коем случае не принадлежал к типу благодушной немецкой банальности прошлого века, именуемой *der zerstreute Professor*.^[2] Напротив, он был, пожалуй, слишком настороженным, слишком упорно выискивал вокруг себя дьявольские западни, слишком мучительно опасался, что безалаберное окружение (эта непредсказуемая Америка) может привести его к какому-нибудь ужасающему недосмотру. Это мир, окружавший его, был рассеянным, а потому именно ему, Пнину, приходилось направлять этот мир на путь истинный. Жизнь его была непрерывным сражением с неодушевленными предметами, которые то разваливались в руках, то совершали против него вылазки, то отказывались выполнять свое предназначение, а то и вовсе злокозненно исчезали, едва войдя в сферу его обихода. Он был в высшей степени безрукий, но, поскольку он умел в мгновение ока смастерить из горохового стручка примитивную губную гармошку, издающую одну-единственную ноту, или швырнуть плоскую галечку так, чтоб она десять раз подпрыгнула на поверхности пруда, или при помощи согнутых пальцев изобразить на стене теневого зайчика (даже с мигающими глазками), а также показать еще несколько подобных же фокусов, которые хранятся про запас у всякого русского, он считал, что он наделен незаурядными способностями ко всякому ручному и техническому труду. При виде технических новинок и пустячных изобретений он испытывал какой-то изумленный, суеверный восторг. Электроприборы его завораживали. Пластики ошарашивали. Глубокое восхищение вызывала в нем застежка-молния. Однако прилежно включенные им в сеть электрические часы

путали поутру все карты из-за того, что ночью по случаю грозы временно отключалась местная электростанция. Оправа его очков со щелчком ломалась на переносице, оставляя в его руках равновеликие половинки, которые он уныло пытался соединить, точно надеясь, что некое органико-восстановительное чудо спасет его от беды. И молния, прижитая на самом ответственном месте мужской одежды, вдруг заедала в его растерянных пальцах в кошмарную минуту отчаянной спешки.

Вдобавок ко всему, он еще не знал, что сел не в свой поезд.

Особую опасность таил для Пнина английский язык. За исключением таких не слишком употребительных ошметков языка, как "далее тишина"^[5], "никогда больше"^[6], "уик-энд", "кто есть кто", да еще десятка обыкновенных слов, вроде "съесть", "улица", "авторучка", "гангстер", "чарльстон", "маргинальное употребление"^[7], Пнин вовсе не знал по-английски в те времена, когда он уехал из Франции в Соединенные Штаты. С упорством взялся он за овладение языком Фенимора Купера, Эдгара По, Эдисона и тридцати одного президента. В 1941-м, к концу первого года обучения, он уже достиг уровня, на котором мог походя употреблять расхожие выражения, вроде "принимать желаемое за сущее" и "окидоки"^[8]. К 1942 году умел прервать свое повествование оборотом "короче говоря". К тому времени, как Трумэн начал свой второй президентский срок^[9], Пнин уже мог разговаривать практически на любую тему: с другой стороны, создавалось впечатление, что он, несмотря на все свои усилия, перестал продвигаться вперед, и к 1950 году его английский еще изобиловал всякого рода погрешностями. Той осенью к его курсу русского языка прибавились еженедельные лекции в так называемом симпозиуме ("Бескрылая Европа: Обзор современной европейской культуры"), руководимом доктором Гагеном. Все лекции нашего друга, в том числе и те, что он читал на стороне, редактировал один из молодых преподавателей германского отделения. Процедура эта была весьма непроста. Профессор Пнин старательно перекладывал поток своей русской речи, кишящей пословицами, на свой лоскутный английский. Потом молодой Миллер исправлял текст. Потом секретарша доктора Гагена мисс Сверленбор^[10] его перепечатывала. Потом Пнин вымарывал оттуда куски, которые не понимал. А потом уж, один раз в неделю, он зачитывал этот текст перед аудиторией. Без заранее подготовленного текста он был совершенно беспомощным и даже не способен был прибегать к старинному средству, позволяющему справляться с робостью, — выхватить горстку слов, высыпать их на слушателя, подняв на него глаза, а потом, растягивая по

возможности конец фразы, нырнуть за новой порцией слов. Неуверенный взгляд Пнина непременно сбился бы с курса при этой операции. Потому он предпочитал, прочно приклеив взгляд к тексту, попросту читать свои лекции медленным, монотонным баритоном, который, казалось, взбирался выше и выше по нескончаемым пролетам лестницы, подобно человеку, избегающему пользоваться лифтом.

Добродушному седовласому кондуктору, у которого очки в стальной оправе сползли с его простого, чисто утилитарного носа, а на большом пальце виден был клочок засаленного пластыря, оставалось пройти всего три вагона, чтобы добраться до последнего, того, в котором ехал Пнин.

Пнин между тем был поглощен удовлетворением чисто пнинского пристрастия. Он был в тисках пнинианской дилеммы. Наряду с прочими предметами, совершенно необходимыми для пнинского ночлега в чужом городе, а именно — ботиночных распорок, яблок, словарей и тому подобного, в его кожаном саквояже был и сравнительно новый еще черный костюм, в котором Пнин собирался в тот вечер читать лекцию ("Являются ли русские коммунистами?") кремонским дамам. Там же лежала лекция для симпозиума ("Дон Кихот и Фауст"), которую Пнин должен был прочесть в понедельник и текст которой он намерен был штудировать завтра, на обратном пути в Уэйндел, а также курсовая работа аспирантки Кэти Кис ("Достоевский и гештальтпсихология^{111}"), которую он должен был прочесть за доктора Гагена, бывшего ее главным мозгоукладчиком. Проблема возникала следующая: если хранить кремонский доклад — пачку машинописных листов, аккуратно сложенных пополам, — на груди, в надежном тепле внутреннего пиджачного кармана, то существовала, хотя бы теоретически, опасность того, что он забудет переложить листки в тот пиджак, в который он облачится вечером. С другой стороны, если уже сейчас переложить доклад в карман вечернего пиджака, лежавшего пока в саквояже, то его замучает, и он знал об этом, мысль, что багаж его может быть украден. С третьей стороны (подобное состояние духа чревато бесконечным умножением сторон), во внутреннем кармане теперешнего его пиджака находился драгоценный бумажник, содержащий две десятидолларовые бумажки, вырезанное из газеты "Нью-Йорк таймс" письмо по поводу Ялтинской конференции, которое он написал с моей помощью еще в 1945 году, а также свидетельство о получении американского гражданства; с точки зрения физической представлялось вполне возможным, что, вытаскивая в случае нужды бумажник, он по неловкости выронит сложенные листки. За двадцать минут своего железнодорожного путешествия наш друг успел уже два раза открыть

саквояж и заняться перекладыванием бумаг. В тот момент, когда кондуктор вошел в их вагон, прилежный Пнин уже преодолевал новейший плод умственных усилий Кэти, начало которого звучало так: "Переходя к обозрению интеллектуального климата, в котором протекает наше существование, нельзя не отметить..."

Вошел кондуктор; не стал будить солдата; пообещал женщинам, что предупредит их, когда они будут подъезжать к своей станции; наконец, качая головой, стал разглядывать пнинский билет. Остановка в Кремоне была отменена еще два года назад.

— Важнейшая лекция! — вскричал Пнин. — Делать что? Настоящее катастроф!

Седовласый кондуктор с серьезностью и с удобством опустил в кресло напротив Пнина и молча раскрыл толстое затрепанное расписание с грушами чернильных вставок. Через несколько минут, точнее, в 3.08, Пнину следует выйти в Уитчерче; тогда он сможет поймать четырехчасовой автобус, который часам к шести вечера доставит его в Кремону.

— Я думал, я выгадывал двадцать минут, а теперь я терял почти два целых часа, — с горечью сказал Пнин. Потом он откашлялся, прочищая горло, и, не слушая утешений седовласого добряка ("Наверстаєте"), снял очки, забрал свой тяжеленный саквояж и удалился в тамбур, чтобы там дожидаться, когда летящая мимо смутная зелень исчезнет и на месте ее возникнет нужная станция.

Уитчерч материализовался точно по расписанию. Раскаленное, недвижимое пространство бетона и солнца простиралось за геометрически плотными, четко срезанными тенями. Погода была здесь неправдоподобно летней для октября. Настороженный Пнин вошел в залу ожидания с ненужной печкой посередине и огляделся. В пустынном углу был сверху до пояса виден вспотевший парень, который заполнял какие-то бланки, разложив их перед собой на широкой деревянной конторке.

— Информация, пожалуйста, — сказал Пнин. — Где есть остановка четырехчасовой автобус в Кремону?

— Напротив, — молниеносно отозвался служащий, не поднимая головы.

— Где есть возможность оставлять багаж?

— Этот? Присмотрю.

И с чисто американским небрежением к форме, которое всегда приводило Пнина в замешательство, он сунул саквояж в угол на полку.

— Квитаншн? — спросил Пнин, беспечно придавая английское звучание русскому слову.

— Чего? Чего?

— Номер? — Пнин сделал еще одну попытку.

— Не нужен, — сказал парень и вернулся к своей писанине.

Пнин вышел на улицу, удостоверился, действительно ли там находится автобусная остановка, потом зашел в кафе. Он поглотил бутерброд с ветчиной, заказал второй и его поглотил тоже. Ровно без пяти четыре, заплатив за бутерброды, зато бесплатно выбрав себе превосходную зубочистку в имеющем форму сосновой шишки специальном стаканчике, возле кассы, Пнин отправился на вокзал за своим саквояжем.

За конторкой теперь сидел другой служащий. Того, который был раньше, срочно вызвали домой — отвозить жену в родильный дом. Вернется через несколько минут.

— Но я должен получать мой саквояж! — закричал Пнин.

Служащий выразил сожаление, но помочь ничем не мог.

— Вот там! — закричал Пнин, перегнувшись через конторку и тыча пальцем в угол.

Ему не повезло. Он еще продолжал тыкать пальцем, когда до него дошло, что он требует чужой саквояж. Палец заколебался. Сомнение

оказалось для Пнина роковым.

— Автобус в Кремену! — закричал он.

— В восемь будет еще один, — сказал служащий.

Что оставалось нашему бедному другу? Ужасное положение! Пнин взглянул на улицу. Автобус уже подошел. Сегодняшнее выступление сулило лишних пятьдесят долларов. Рука его скользнула по правому карману. Вот она, *slava Bogu* (слава Богу)! Прекрасно! Просто он не наденет сегодня черный костюм — *vot i vsyo* (вот и все). Заберет его на обратном пути. В свое время он растерял, рассорил, рассеял по свету много вещей, представлявших и большую ценность. Энергично, можно даже сказать, с легким сердцем Пнин взобрался в автобус.

Он успел преодолеть в этом своем новом странствии несколько городских кварталов, когда страшное подозрение пронеслось у него в мозгу. С той самой минуты, как он разлучился со своим саквояжем, он то кончиком указательного пальца левой руки, то локтем правой удостоверился, что бесценные листки с текстом лекции на своем месте, во внутреннем кармане пиджака. Теперь он вдруг резко выдернул их на свет божий. Это был Кэтин труд.

Издавая восклицания, которые казались ему международными сигналами мольбы и тревоги, Пнин выскочил из своего кресла. Валясь то на одну, то на другую сторону, он добрался до выхода. Водитель одной рукой угрюмо надоил мелочи из своей машинки, вернул Пнину стоимость билета, потом остановил автобус. Бедный Пнин вышел посреди незнакомого города.

Он был вовсе не так крепок, как можно было подумать, глядя на его могучую вздутую грудь, и волна безнадежной усталости, которая вдруг накрыла его тело головастика, словно отторгнув его от реального мира, не была для него вовсе уж незнакомой. Он находился в сыром, зеленом, отливавшем пурпуром, строго, по-кладбищенски расчерченном парке, где тон задавали мрачноватые рододендроны, блестящие лавры, обрызганные фонтанчиками тенистые деревья и аккуратно подстриженные газоны; едва он свернул на аллею, засаженную каштанами и дубами, которая, как успел ему буркнуть шофер, должна была вывести к станции, это странное чувство, этот озноб нереальности окончательно отнял у него силы. Может, он что-нибудь съел не то? Скажем, этот огурчик с ветчиной? Или это какая-то таинственная болезнь, которую ни один из его врачей еще не смог обнаружить? Мой друг недоумевал, да и я недоумеваю тоже.

Не знаю, было ли уже кем-нибудь отмечено, что одним из главных условий продолжения жизни является ее укромность, сокрытость от глаз.

Если оболочка плоти перестает окутывать нас, мы попросту умираем. Человек может существовать лишь до тех пор, пока он отгорожен от своего окружения. Череп — это шлем космонавта. Оставайтесь в его пределах, не то погибнете. Смерть — это разоблачение, раздевание, смерть — это приобщение и причастие. Чудесно, должно быть, слиться с окружающим нас пейзажем, однако, поступив так, мы покончим со своим хрупким я. Чувство, которое переживал сейчас бедный Пнин, и было чем-то весьма похожим на это раздевание, на это приобщение. Он ощутил себя пористым и уязвимым. Он обливался потом. Он испытывал ужас. Лишь каменная скамья, попавшаяся среди лавров, не дала ему упасть на дорожку. Может, это был сердечный приступ? Сомневаюсь. В данном случае я его врач, а я, да будет мне позволено повториться, сомневаюсь. Мой пациент принадлежал к тем редким и несчастным людям, которые смотрят на свое сердце ("полый, мускульный орган", мрачно определяет его "Вебстеровский новый университетский словарь"^[12], который остался в осиротевшем саквояже Пнина) с брезгливым ужасом, истерическим отвращением и нездоровой ненавистью, словно это какое-нибудь склизкое, могучее и неприкасаемое чудище, паразит на нашем теле, с которым мы, увы, должны мириться. Случалось, что врачи, озадаченные толчками и переплясом его пульса, подвергали Пнина особо тщательному осмотру, и тогда кардиобормашина вычерчивала сказочные горные хребты, свидетельствуя о десятке роковых болезней, исключаящих друг друга. Сам он боялся прикасаться к своему запястью. Он никогда не поворачивался на левый бок, даже в те удручающие ночные часы, когда всякий, кто страдает бессонницей, тщетно испробовав и один и другой бок, мечтает о третьем.

Сейчас, в парке Уитчерча, Пнин чувствовал то, что ему уже доводилось чувствовать 10 августа 1942 года и 15 февраля (день его рождения) 1937-го, и 18 мая 1929-го, и 4 июля 1920-го — что этот мерзостный автомат, который он приютил в своем теле, превратился вдруг в существо одушевленное и не только бесцеремонно зажил собственной жизнью, но и стал причинять ему страдание и страх. Прижав свою бедную лысину к каменной спинке скамьи, Пнин стал вспоминать прежние приступы подобного недомогания и отчаянья. Может быть, на сей раз это обычное воспаление легких? Несколько дней тому назад он до костей продрог, сидя на бодром американском сквозняке, какими в ветреный вечер обильно потчуют гостей здешние хозяева после второй рюмки. Пнин вдруг обнаружил (может, он все-таки умирал?), что соскальзывает в свое детство. Ощущению этому сопутствовала пронзительная острота и подробность воспоминаний, что, как говорят, является драматической привилегией

утопающего и особенно часто случалось в старые времена в русском флоте — этот феномен удушья, как объяснял один ветеран психоанализа, чье имя я что-то не припомню, является результатом подсознательно всплывающего на поверхность шока, пережитого во время крещения и вызывающего между первым и последним погружением в воду взрыв переплетенных между собой воспоминаний. Все это происходит в долю мгновения, однако, чтоб изложить происшедшее, мы можем лишь прибегнуть к последовательному сочетанию множества слов.

Пнин происходил из почтенной и вполне состоятельной санкт-петербургской семьи. Его отец, доктор Павел Пнин, глазной врач с весьма солидной репутацией, имел однажды честь пользоваться от конъюнктивита самого Льва Толстого. Мать Тимофея, очень нервная, хрупкая, невысокого роста, с коротко стриженными волосами и осиной талией, была дочерью известного в свое время революционера Умова (рифмуется с "зумоф", что означает, как известно, "взлетать") и немецкой дамы из Риги. В нынешнем его полузабытии на Пнина наплывали глаза матери. Стоял воскресный день в разгаре зимы. Пнину было одиннадцать. Он готовил уроки на завтра для своей Первой гимназии, когда вдруг почувствовал, что странный холод пронизывает все его тело. Мать измерила ему температуру, с испугом взглянула на свое детище и немедленно вызвала педиатра Белочкина, лучшего друга своего мужа. Это был маленький бровастый человек с бородкой и ежиком волос. Разведя полы своего сюртука, он присел на краешек Тимофеевой постели. Началось состязание между стрелкой толстых золотых часов доктора и пульсом Тимофея (последний победил без труда). Тимофея обнажили до пояса, и Белочкин прижал к его телу ледяную наготу своего уха и наждачную стрижку волос. Как плоская стопа какого-то одноногого чудища, ухо это вышагивало по груди и спине Тимофея, то вдруг приклеиваясь к какому-нибудь пятачку кожи, то перешагивая на другой. И не успел еще доктор уйти, как мать Тимофея и ядреная прислуга, зажимавшая между зубами английские булавки, запаковали маленького несчастного пациента в компресс, похожий на смирительную рубашку. Он состоял из слоя пропитанной влагой полотняной ткани, из толстого слоя ваты, из плотной фланели и липкой дьявольской клеенки — цвета мочи и жара, — которая разделяла влажную ткань, прилипающую к коже, и душераздирающе скрипящую вату, вокруг которой была вдобавок намотана фланель. Бедная куколка в коконе, Тимоша (Тим) лежал под целым ворохом одеял; но ничто не спасало его от озноба, который от леденеющего позвоночника расползался по ветвям его ребер. Он не мог закрыть глаза, так сильно горели веки. В глазах у него

стоял лишь овал боли, пронзаемый косыми уколами света; в знакомых очертаниях и предметах плодились злые виденья. Возле его кровати находилась четырехстворчатая ширма из полированного дерева, на которой выжжены были рисунки, представляющие вьючную тропу, накрытую войлоком опавшей листвы, пруд с лилиями, скорченного старичка на скамейке да белку, держащую в передних лапках какой-то красноватый предмет. Тимоша, дотошный мальчик, и раньше часто размышлял, что бы это мог быть за предмет (орех? сосновая шишка?), и вот теперь, не имея больше занятий, он взялся разгадать унылую эту загадку, однако жар, наполнявший гудом его голову, топил любое усилие его мысли в волнах страдания и страха. Еще более удручающей оказалась борьба с обоями. Он всегда замечал, что сочетанья трех разных пурпурных соцветий с семью неодинаковыми дубовыми листьями чередуются по вертикали с умиротворяющей точностью; сейчас его, однако, тревожило истинное наважденье, которое заключалось в том, что ему ни за что не удавалось обнаружить, какой же системе соединений и завершений подчиняются повторы этих узоров по горизонтали; то, что повторы эти существовали, подтверждалось тем, что время от времени на пространстве стены от кровати до гардероба и от печки до двери он все же замечал появление тех или иных элементов повтора, но, однако, лишь только он трогался в путь справа налево от любого им избранного сочетанья трех соцветий с семью листьями, как увязал в бессмысленной путанице рододендронов и дубов. Казалось логичным, что если злокозненный рисовальщик — этот разрушитель сознания и спутник температурного жара — со столь чудовищным тщанием запрятал тайный ключ сочетанья узоров, то, возможно, ключ этот окажется столь же ценным, как самая жизнь, а будучи найден, сможет вернуть Тимофею Пнину и здоровье, и обычный его мир; эта прозрачная — увы, слишком прозрачная — мысль заставляла его упорствовать в своей борьбе.

Ощущение, что он опаздывает к чему-то, что должно начаться с той же ненавистной точностью, что и школьные уроки, ужин или время вечернего сна, усугубляло неловкой и неповоротливой торопливостью его и без того тягостные поиски, переходившие в бред. Листва и соцветья, не нарушая ни на йоту сложной своей структуры, словно отделялись вдруг волнообразною массой от бледно-синего фона, который, в свою очередь, терял бумажную плоскость и все уходил, уходил в глубину, так что сердце наблюдавшего за ним готово было разорваться, расширяясь вслед за этим пространством. Через эти обретшие самостоятельную жизнь гирлянды он еще различал какие-то самые жизнеспособные из предметов, заполнявших его детскую,

вроде лакированной ширмы, или мерцающей кнопки, или медных шишек в изголовье кровати, однако они вторгались в собственную жизнь дубовых листьев и пышных соцветий даже в меньшей степени, чем отражение на оконном стекле предметов, находящихся внутри комнаты, может вторгнуться в четкие очертанья пейзажа, видимого через то же стекло. И хотя соглядатай и жертва всей этой фантасмагории лежал в постели укутанным, это он же, в полном соответствии с двойственной натурой своего окруженья, сидел в то же самое время на скамье в зеленом и пурпурном парке. На какое-то ускользящее мгновение ему показалось вдруг, что он нашел наконец ключ, который искал; но прилетевший вдруг из какой-то далекой дали шелестящий листвою ветер, мягкий только вначале, а позже все нараставший и нараставший по мере того, как он теребил рододендроны — уже облетевшие, слепоглазые, — смешал и спутал даже тот постижимый узор, что еще был когда-то в жизни Тимофея Пнина. Спинка скамьи, на которой он покоился, была столь же реальной, как и его одежда, или его бумажник, или дата Большого московского пожара — 1812.

Серая белочка, удобно сидевшая перед ним на земле на задних лапках, пробовала зубами косточку персика. Ветер стих, потом снова сотряс листву.

Он себя чувствовал слабым и испуганным после припадка, но продолжал убеждать себя в том, что если бы это был настоящий сердечный приступ, то он, конечно, ощутил бы много большую неуверенность и тревогу, и в конце концов эти окольные рассуждения рассеяли его страх. Было двадцать минут пятого, Пнин высморкался и побрел к станции.

Прежний служащий уже был на месте. "Вот он ваш саквояж, — сказал он бодро. — Жаль, что вы пропустили кремонский автобус".

— Надеюсь, по крайней мере, — о, сколько иронического достоинства бедный наш друг пытался вложить в это "по крайней мере", — что у вашей жены все в порядке.

— Все будет в порядке. Только, наверно, придется подождать до завтра.

— А теперь, — сказал Пнин. — где тут располагается телефон-автомат?

Служащий вытянул руку с карандашом перед собой и в сторону, насколько ему позволяло его логово. Пнин с саквояжем в руке двинулся было в указанном направлении, но тут служащий окликнул его снова. Карандаш его теперь указывал через дверь на улицу.

— Вот там видите — два дядьки машину грузят? Они едут в Кремону. Скажите им, что вас послал Биф Стэкс, вот и все. Они вас захватят.

Есть люди — я и сам из их числа, — которые ненавидят "хэппи энды", то бишь счастливые развязки. У нас при этом такое чувство, будто нас надули. Драма — это норма. Невзгоды ждать не заставят. Беда не забуксует. Лавина, которая вдруг замерла на пути, не пройдя последние метры, чтоб накрыть горную деревушку, ведет себя не только противоестественно, но и безнравственно. Если б я читал историю про этого тихого пожилого джентльмена, вместо того чтобы сочинять ее, я предпочел бы, чтобы, прибыв в Кремону, он обнаружил, что лекция его назначена не на эту пятницу, а на следующую. На самом деле Пнин не только благополучно добрался до места, но еще и успел к ужину — на закуску он взял фруктовый коктейль, потом мятное желе с каким-то неопознанным куском мяса и шоколадный сироп с ванильным мороженым. И вот, перекормленный сладостями, облаченный в свой черный костюм, манипулируя сразу тремя докладами, которые он распихал по карманам пиджака, с тем чтобы тот, который понадобится сегодня, оказался одним из трех (таким образом, он методом математической неизбежности исключал возможность просчета), Пнин уже восседал на стуле близ кафедры, в то время как на самой кафедре мисс Джудит Клайд, безвозрастная, наряженная в нечто шелковое цвета морской волны блондинка с крупными, плоскими щеками прекрасного конфетно-розового цвета и яркими глазами, которые купались в голубом безумии за стеклами пенсне без оправы, представляла докладчика аудитории.

— Сегодня, — сказала она, — у нас выступит... А это, кстати сказать, наше третье заседание; в последний раз, если вы помните, все мы имели удовольствие прослушать рассказ профессора Муры о китайском земледелии. Сегодня же у нас в гостях, и я с гордостью объявляю вам об этом, выходец из России и гражданин нашей страны, профессор — вот тут, боюсь, мне предстоят трудности, — профессор Пан-нин. Надеюсь, у меня тут правильно записано. Он вряд ли, конечно, нуждается в специальном представлении, и все мы очень рады видеть его среди нас. Нам предстоит сегодня большая программа, большая и очень насыщенная, и я уверена, что все вы заинтересованы в том, чтоб у нас осталось время и вы могли задать вопросы докладчику. Между прочим, как мне говорили, отец его был домашним врачом Достоевского и сам он немало путешествовал по ту и по эту сторону Железного Занавеса. Так что я не буду больше занимать ваше драгоценное время и скажу только в дополнение два слова о лекции, которая будет прочитана в рамках той же самой программы в следующую пятницу. Уверена, что вы будете в восторге, когда узнаете, какой замечательный сюрприз нас с вами ждет. Нашим следующим докладчиком

будет видный поэт и прозаик — мисс Бетси Бисершилд. Все мы знаем, что она создала произведения поэзии и прозы, а также несколько коротких рассказов. Мисс Бисершилд родилась в Нью-Йорке. Ее предки со стороны отца и матери во время Революционной войны сражались с той и с другой стороны. Первое свое стихотворение она написала еще студенткой. Многие из ее стихотворений — во всяком случае, не меньше трех — были опубликованы в сборнике "Ответное чувство. Сто любовных стихотворений американских поэтесс". В 1932 году она удостоилась денежной премии, учрежденной...

Но Пнин не слушал. Легкий отзвук недавнего приступа совершенно завладел его вниманием. Он длился совсем недолго, всего несколько ударов сердца, с нерегулярными сбоями то там, то здесь — последнее и безвредное эхо, — и Пнин вернулся к трезвой реальности, приглашенный почтенною хозяйкой занять место за кафедрой; и все же, пока длился этот миг, каким ясным было видение! В середине первого ряда он узнал одну из своих прибалтийских тетюшек, в жемчугах, кружевах и в светлом своем парике, что она надевала на все спектакли знаменитого и никчемного актера Ходотова^[13], которого она обожала издали до той самой поры, пока мало-помалу не уплыла в безумие. Рядом с ней, застенчиво улыбаясь, склонив набок гладко причесанную темную головку и даря его нежным, сияющим кареглазым взглядом из-под бархатных бровей, сидела, обмахиваясь программкой, его мертвая любовь. Убитые, неотмщенные, позабытые всеми, безгрешные и бессмертные, его многочисленные прежние друзья притаились в уголках этой тускло освещенной залы среди более поздних, таких, как мисс Клайд, которая скромно ушла на свое место в первом ряду. Ваня Бедняшкин, расстрелянный красными в 1919 году в Одессе за то, что отец его был либералом, радостно махал бывшему однокласснику из задних рядов. И где-то в скромном отдалении доктор Павел Пнин и его взволнованная супруга, оба чуть расплывчатые, но все же, в целом, чудесным образом возвращенные из мрака небытия, глядели на своего сына с той же всепоглощающей страстной любовью и гордостью, с какой смотрели на него в тот вечер 1912 года, когда на школьном празднике, посвященном победе над Наполеоном, он декламировал (маленький очкарик, один-единственный на целой сцене) стихи Пушкина.

Краткое видение исчезло. Старая мисс Геринг, профессор истории, в отставке, автор книги "Россия пробуждается" (1922), через головы двух или трех слушательниц приносила мисс Клайд свои поздравления по поводу ее речи, а выбираясь из-за спины этой дамы, еще одна мерцающе дряхлая участница заседания тянула свои сморщенные ладони, так чтоб они видны

были мисс Клайд, и аплодировала беззвучно.

ГЛАВА 2

Утренний перезвон знаменитых уэйндельских университетских колоколов был в самом разгаре.

Лоренс Дж. Клементс, уэйндельский ученый, чьим единственным популярным курсом был курс философии жеста, и его супруга Джоун (урожденная Пенделтон, выпуск 1930 г.), недавно разлучились со своей дочерью, лучшей студенткой отца: Изабел еще первокурсницей вышла замуж за инженера, который, окончив Уэйндел, получил работу в далеком западном штате.

Колокола мелодично звонили в серебристом сиянье солнца. Обрамленный окном крошечный городок Уэйндел (белые стены, черные узоры сучьев) вписан был — как на детском рисунке, без перспективы и глубины пространства — в серо-аспидные холмы; все вокруг было живописно оправлено инеем; блестели на стоянке блестящие части автомобилей; старый шотландский терьер, принадлежащий мисс Динглдон, некая цилиндрическая помесь пса с кабанчиком, уже начал свой ежедневный обход — вверх по улице Уоррена, вниз по проспекту Спелмана, снова вверх, снова вниз; впрочем, ни дух добрососедства, ни красота пейзажной планировки, ни колокольный перезвон не могли смягчить суровости зимней погоды; через две недели, после раздумчивой паузы должна была начаться наиболее зимняя часть учебного года, так называемый весенний семестр, и Клементсам было грустно, тревожно и одиноко в их милом, старом, продуваемом сквозняками доме, который словно бы стал велик и болтался на них, вроде того как болтается отвислая кожа или обвислая одежда на каком-нибудь безумце, который скинул зараз треть своего веса. Изабел была еще так молода, так рассеянна, и они ведь понастоящему даже не видели семью мужа, если не считать той отборной свадебной коллекции марципановых лиц, что предстала в снятой напрокат зале, где воздушная невеста казалась такой беспомощной без очков.

Колокольные звоны под вдохновенным управлением д-ра Роберта Дисканта, энергичного педагога музыкального отделения, все еще сотрясали райское небо, и, склоняясь над спартанским завтраком из лимонов и апельсинов, Лоренс, светловатый, лысоватый и болезненно тучный, все прохаживался на счет главы французского отделения, одного из гостей, приглашенных к ним на вечеринку в честь профессора Энтсвистла из Голдвинского университета. "На кой черт, — кипятился Лоренс, — тебе

надо было звать этого Блоренджа, эту мумию, эту зануду, одного из самых заштукатуренных столбов просвещения?"

— А мне нравится Анн Блорендж, — сказала Джоун, кивками утверждая и приглашение свое и пристрастие. "Пошлая старая кошка!" — вскричал Лоренс. "Бедная старая кошка", — промурлыкала Джоун, — как раз в это мгновение доктор Дискант прекратил, а телефон в прихожей начал свой трезвон.

С точки зрения литературной техники наше искусство передачи двухсторонних телефонных разговоров все еще сильно отстает от того, скажем, как мы воспроизводим обмен репликами из одной комнаты в другую или из двух окон, выходящих на узкую синюю улочку старинного городка, где вода на вес золота и где эти бедные ослики, и ковры на продажу, и минареты, и чужеземцы, и дыни, и дрожащие отзвуки утра. Когда Джоун своей хлесткой длинноногой походкой подоспела к настойчивому аппарату, еще не успевшему смолкнуть, и сказала "алло" (брови подняты, глаза блуждают по комнате), ответом ей было глухое молчанье; она смогла разобрать лишь бесцеремонный присвист ровного дыхания; наконец голос лишь сипевшего до сих пор человека произнес с уютным иностранным акцентом: "Одну минуточку, извините". — Бросив это небрежно, человек продолжал сипеть, а также как будто хмыкать и мекать и даже вздохнул тихонько под аккомпанемент легкого шелеста, напоминавшего шелест страничек блокнота.

— Алло! — повторила Джоун.

— Вы есть, — с осторожностью предположил тот же голос. — есть вы миссис Файер?

— Нет, — сказала Джоун и повесила трубку. — А кроме того, — продолжала она, возвращаясь в кухню и обращаясь к мужу, который поклевывал ветчину с ее тарелки, — не станешь же ты отрицать, что Джэк Кокарек считает Блоренджа первоклассным администратором.

— Кто это звонил?

— Кто-то требовал миссис Фойер или Фэйер. Послушай, если ты будешь сознательно пренебрегать всем, что Джордж... (Доктор О. Дж. Курс, семейный врач Клементсов.)

— Джоун, — сказал Лоренс, чувствовавший себя много лучше после опалового ломтика ветчины, — Джоун, дорогая, ты ведь помнишь, наверно, как ты говорила вчера Маргарет Тэйер, что хотела бы пустить постояльца?

— О, черт, — сказала Джоун — и телефон услужливо позвонил снова.

— Очевидно, — сказал тот же голос, без всякого неудобства продолжая прерванный разговор, — что я по ошибке использовал имя того,

кто мне давал сообщение. Соединен ли я с миссис Клементс?

— Да, это миссис Клементс, — сказала Джоун.

— Говорит профессор... — дальше последовал какой-то нелепый взрывчик. — Я преподаю русский. Миссис Файер, которая выполняет сейчас в библиотеке почасовую работу в качестве...

— Да, — миссис Тэйер, знаю. Вы что, хотите посмотреть комнату?

Он хотел. Мог ли бы он прийти для осмотра приблизительно через полчаса? Да, она будет дома. Она безжалостно швырнула трубку.

— Кто на этот раз? — спросил муж, оборачиваясь с лестницы (пухлая, веснушчатая рука на перилах), уводившей в прибежище его кабинета.

— Пинг-Понг крак! Какой-то русский.

— Профессор Пнин, о боже! — воскликнул Лоренс. — "Я знаю хорошо — бесценный этот перл..."^{14} Я категорически против того, чтоб этот ненормальный жил в моем доме.

Он свирепо продолжал топтать вверх по лестнице. Она крикнула ему вслед:

— Лор, ты кончил вчера эту статью?

— Почти. — Он остановился у поворота лестницы — она слышала, как, продолжая двигаться, взвизгнула его ладонь, потом прихлопнула перила. — Сегодня кончу. Сперва еще надо подготовить этот чертов экзамен по ЭЗС.

Последнее означало "Эволюция здравого смысла", самый знаменитый из его курсов (записалось двенадцать студентов, ни один из которых не имел и малейшего сходства с апостолом), начинавшийся и завершавшийся фразой, которой суждено когда-нибудь стать крылатой: "Эволюция смысла представляет собой в каком-то смысле эволюцию бессмыслицы".

Полчаса спустя Джоун взглянула в окно балконной двери поверх усыхающих кактусов и увидела какого-то мужчину в дождевом плаще, с непокрытой головой, похожей на полированный медный шар. Он с большим энтузиазмом звонил у парадной двери красивого кирпичного дома по соседству. Старый пес, стоявший подле него, имел вид столь же простодушный, что и сам звонивший незнакомец. Мисс Дингддон вышла со шваброй, впустила в дом нерасторопного, важно ступавшего пса и направила Пнина к дощатой резиденции Клементсов.

Тимофей Пнин уселся в гостиной у Клементсов, закинул ногу на ногу по амеріканські (на американский манер) и пустился в ненужные подробности. Это было "куррикулум витэ", жизнеописание, сжатое до размеров ореха — кокосового ореха. Родился в Санкт-Петербурге в 1898-м. Родители умерли от тифа в 1917-м. Уехал в Киев в 1918-м. Пять месяцев находился в Белой армии, сперва в качестве "полевого телефониста", потом в военной разведке. После вторжения красных в 1919-м бежал из Крыма в Константинополь. Завершил университетское образование...

— Подумать только, я была там в детстве, в том же самом году, — сказала Джоун радостно. — Отец поехал в Турцию с правительственным поручением и взял нас с собой. Мы с вами могли там видаться! Я даже помню, как будет на их языке "вода". Там был такой садик с розами...

— Вода по-турецки есть "су", — сказал Пнин, лингвист поневоле, и продолжил рассказ о своем увлекательном прошлом: — Завершил университетское образование в Праге. Был связан с различными научными учреждениями. Потом...

"Как говорят по-английски, намного короче говоря: населялся в Париже от 1925, покидал Францию от начала гитлеровской войны. Есть теперь здесь. Есть американский гражданин. Преподаю русского и другие такие предметы в Вандальском университете. От Гагена, главы германского отделения, доступны все рекомендации. Или от Университетского дома холостых вандальских преподавателей".

А что, там ему было неудобно?

"Слишком много людей, — сказал Пнин. — Любопытных людей. В то время как сейчас совершенно для меня необходим специальный покой и уединение". Он откашлялся в кулак, издав при этом неожиданно глухой и утробный звук, чем-то напомнивший Джоун о профессиональном донском

казаке, с которым она когда-то была знакома, потом решил: "Я должен предупредить: будут вытащены все мои зубы. Это омерзительная процедура".

— Ну что ж, пошли наверх, — сказала Джоун жизнерадостно.

Пнин заглянул в розовостенную, всю в белых оборочках комнату Изабел. Хотя небо было из чистой платины, вдруг пошел снег, и его медленный, сверкающий обвал отражался в безмолвном зеркале. Пнин скрупулезно исследовал "Девочку с котенком"^{15} Хекера, висевшую над кроватью, а также "Козленка, отставшего от стада"^{16} Ханта над книжной полкой. Потом подержал руку на некотором расстоянии от окна.

— Однородна температура?

Джоун метнулась к батарее.

— Раскаленные, — сказала она.

— Я ставлю вопрос — есть ли течения воздуха?

— О да, воздуху сколько угодно. А это ванная — маленькая, зато ваша собственная.

— Ля душ нету? — осведомился Пнин, поднимая взгляд. — Что ж, так, возможно, даже лучше. Мой друг профессор Шато из Колумбийского однажды поломал ногу в двух участках. Теперь я должен подумывать. Какую цену вы приготовились запросить? Я спрашиваю это, потому что я не буду давать больше, чем один доллар в каждый день — не включая сюда, конечно, прокармливание.

— Идет, — отозвалась Джоун, улыбнувшись своей беглой, дружелюбной улыбкой.

В тот же день один из студентов Пнина, Чарльз Макбет ("Полагаю, сумасшедший, судя по его сочинениям", — говорил о нем Пнин), с энтузиазмом осуществил перевозку пнинских вещей в своем патологически пурпурном автомобиле, не имевшем левого крыла, а после раннего ужина в ресторанчике "Яйцо и мы", который открылся недавно и не пользовался успехом и который Пнин посещал лишь из глубокой симпатии к неудачникам, наш друг посвятил себя приятному делу пнинизации своего нового обиталища. Отрочество Изабел ушло вслед за нею самой, а если где и сохранялось еще, было решительно выкорчевано матерью, зато следам ее девчачьего детства кое-где позволено было уцелеть, и потому, прежде чем изыскать самое благоприятное место, где можно было бы разместить сложную лампу для загара, огромную пишущую машинку с русским алфавитом в разбитом гробу, склеенном лентой, пять пар элегантных и на удивление маленьких туфель с десятком произрастающих из них ветвистых

колодок, последнюю кофемольно-кофеварящую новинку бытовой техники, которая была все же не так хороша, как та, что взорвалась у него год назад, пару будильников, бегающих всякую ночь наперегонки, и семьдесят четыре библиотечные книги, по большей части все русские периодические издания, солидно переплетенные БУУ (то бишь Библиотекой Уэйндельского университета), — Пнин осторожно выдворил на стул, стоящий на лестничной площадке, полдюжины осиротевших книжек, таких, как "Птицы у нас дома", "Счастливые деньки в Голландии" и "Мой первый словарь" ("Содержащий более 600 иллюстраций, на которых представлены зверинцы, части тела, фермы, пожары — все отобранные на строго научной основе"), а также одинокую деревянную бусину с дырочкой посередине.

Джоун, возможно и злоупотреблявшая отчасти этим словом "бедняжка", заявила, что она пригласит бедняжку ученого выпить вместе с ее гостями, на что муж заявил ей, что он тоже бедняжка ученый и что он уйдет на весь вечер в кино, если только она приведет в исполнение свою угрозу. Однако, когда Джоун поднялась наверх к Пнину, чтоб его пригласить, он отклонил ее приглашение, заявив не слишком учтиво, что решил больше не употреблять спиртных напитков. Около девяти прибыли Энтсвистл и три замужние пары, а часов этак в десять, когда вечеринка была в полном разгаре, Джоун, толковавшая с миловидной Гвен Кокарек, заметила вдруг у двери, ведущей к лестнице, переодетого в зеленый свитер Пнина, который поднимал — так, чтоб она видела, — высокий стакан. Джоун поспешила к нему — и одновременно, чуть не сбив ее с ног при этом, через комнату бросился ее муж, чтобы остановить, изничтожить главу английского отделения Джека Кокарека, который в тот самый момент, стоя спиной к Пнину, развлекал миссис Гаген и миссис Блорендж своим знаменитым представлением — он был один из лучших, может даже самый лучший, в городке имитатор Пнина. Модель для его пародий сообщала между тем Джоун: "Это не есть чистый стакан в ванной, и существуют также другие помехи. Идет поддувание от пола и поддувание от стен..." Тут доктор Гаген, благообразный, квадратный старик, также заметил Пнина и стал жизнерадостно его приветствовать, а еще через мгновение в обмен на пустой стакан Пнину вручили точно такой же, но наполненный виски с содовой и со льдом, а самого его немедля представили профессору Энтсвистлу.

"Zdrastvuyte, как pozhivaete horosho spasibo", — отбарабанил Энтсвистл, славно имитируя русскую речь, — он и впрямь был похож на добродушного царских времен полковника в штатском. "Как-то вечером в

Париже, — продолжал он, и в глазах его засветились искорки, — в кабаре „Ougolok“ эта моя наглядная демонстрация совершенно убедила компанию русских завсегдатаев, что перед ними соотечественник, который выдает себя за американца, сами знаете, как это”.

— Через два-три года, — сказал Пнин, который, упустив один автобус, не преминул вскочить на следующий, — меня тоже будут принимать за американца, — и все, кроме профессора Блоренджа, дружно рассмеялись.

— Мы вам поставим электрообогреватель, — по секрету сообщила Пнину Джоун, угощая его оливками.

— Какой тип обогреватель? — спросил Пнин с подозрительностью.

— Увидим. Что там еще не в порядке?

— Да — звуковые беспокойства, — сказал Пнин. — Я слышу всякий, всякий звук снизу, но сейчас это не есть место, чтобы обсудить, я думаю.

Гости начали разъезжаться. Пнин вскарабкался к себе наверх, сжимая в руке чистый стакан. Энтсвистл и хозяин дома последними вышли на крыльцо. Мокрый снег падал в черноту ночи.

— А жаль, — сказал профессор Энтсвистл, — что мы не можем вас соблазнить перебраться насовсем к нам в Голдвин. У нас там Шварц и старый Крэйтс, оба ваши самые большие почитатели. У нас настоящее озеро. У нас есть все. У нас даже свой профессор Пнин есть.

— Знаю, знаю, — сказал Клементс. — Однако эти предложения, которые на меня сейчас сыплются, все они пришли слишком поздно. Я скоро собираюсь в отставку, а до той поры предпочитаю сидеть все в той же затхлой, но уже привычной дыре. Как вам понравился, — он понизил голос, — "мосье Блоранж"!

— О, он, кажется, превосходный малый. Хотя чем-то он, признаться, напоминает некоего, вероятно, мифического глав французского отделения, который полагал, что Шатобриан^{17} был знаменитый шеф-повар.

— Тс-с, — сказал Клементс. — Эта история, впервые рассказанная о Блорендже, вовсе не выдумка.

А на следующее утро Пнин геройски шагал в город, выгуливая свою трость на европейский манер (вверх-вниз, вверх-вниз) и останавливая взгляд на различных окружающих предметах, чтоб путем умственного усилия представить себе, что он будет чувствовать, видя те же предметы после мучительного испытания и припоминая, какими они представлялись ему через призму нынешнего ожидания. Два часа спустя он плелся назад, тяжело опираясь на трость и вовсе не глядя по сторонам. Обледененье и одеревененье анестезии мало-помалу отступало перед жаркой волной боли, заливавшей его оттаивающий, все еще полуживой и безобразно истерзанный рот. Все последовавшие за этим дни он жил в непроходящем трауре по некой очень интимной части своего существа. Он был удивлен, обнаружив, сколь сильную привязанность испытывал он к своим зубам. Его язык, толстый и гладкий тюлень, скользил и радостно бултыхался, бывало, средь знакомых утесов, осязая очертанья этого сильно потрепанного, но все еще надежного королевства, барахтаясь в бухтах, взбираясь на зазубрины, тычась в затоны и прячась в пещеры, набредавая вдруг на клочья сладкой подводной мочалы в какой-нибудь привычной расселине; теперь же не оставалось ни единой знакомой вехи, была лишь огромная, темная рана, terra incognita^[3] десен, которые отвращенье и ужас не позволяли ему обследовать. А потом в рот ему всунули протезы — точно злосчастный череп из раскопок снабдили парой ослабленных челюстей совершеннейшего незнакомца.

Как и было уговорено, он все это время не читал лекций, а экзамены за него принимал Миллер. Прошло десять дней — и ему вдруг стало нравиться его новое приспособление. Это было откровение, новая заря, полный рот крепкой, деловой, белогипсовой и такой человеческой Америки. На ночь он опускал свое сокровище в особый стакан с особой жидкостью, и оно улыбалось там самому себе, розовое и жемчужно-белое, совершенное, как некая разновидность глубоководной флоры. Великий труд Пнина о матушке-России, эта удивительная, сказочная смесь народных преданий, поэзии, социальной истории и *petite histoire*,^[4] труд, который он так любовно вынашивал уже лет десять, если не больше, теперь показался вдруг осуществимым, потому что головные боли перестали мучить его, а новый амфитеатр из светлого прозрачного пластика являл собою и сцену и представление. Начался весенний семестр, и студенты его не могли не

отметить перемены погоды, наблюдая, как игриво он постукивает ластиком на конце карандаша по ровным, даже слишком ровным резцам и клыкам, когда кто-нибудь переводит фразу из "Начального курса русского языка", составленного старым, но еще бодрым профессором Оливером Бредкрытом Манном (на деле же от первой до последней страницы написанного двумя хрупкими поденщиками, Джоном и Ольгой Кроткими, обоих, увы, уже нет на свете), что-нибудь вроде "Мальчик играет со своей няней и своим дядей". А однажды вечером он подстерег Лоренса Клементса, удиравшего в свой кабинет, и с несвязными возгласами торжества начал ему демонстрировать всю красоту этой штуковины, а также неправдоподобную легкость, с какой ее можно извлечь изо рта и тотчас засунуть обратно, убеждая изумленного, хотя и вполне дружелюбного Лоренса, чтоб он завтра же, с утра пораньше вырвал все свои зубы.

— Вы станете просто другим человеком, как я! — кричал ему Пнин.

К чести и Джоун, и Лоренса, они по прошествии весьма недолгого времени научились ценить Пнина в его совершенно уникальном пнинском качестве, несмотря на то что он играл у них в доме скорее роль домового, чем постояльца. Он учинил что-то непоправимое над своим новым обогревателем и при этом угрюмо сказал, что это неважно, так как все равно скоро придет весна. У него была неприятная привычка, стоя на верхней площадке, каждое божье утро не меньше пяти минут старательно чистить одежду, звякая щеткой о пуговицы. И у него завязалась поистине страстная интрига со стиральной машиной Джоун. Хотя ему было запрещено приближаться к машине, снова и снова он попадался на том, что нарушал этот запрет. Отбросив в сторону приличия и осторожность, он совал ей в утробу все, что ему попадалось под руку, — носовой платок, кухонное полотенце, целую гору трусов и рубашек, тайком принесенных из комнаты, — и все лишь ради удовольствия наблюдать через окошечко это зрелище, похожее на бесконечное круженье дельфинов, страдающих от вертячки. Както в воскресенье, убедившись, что рядом никого нет, он не удержался от соблазна, рожденного исключительно жаждой научного познания, и скормил этой мощной машине пару своих парусиновых туфель на резиновой подошве, заляпанных глиной и обзелененных травой: туфли ушли в машину с ужасающим аритмическим звуком, похожим на топот армейского подразделения, переходящего мост, и снова появились на свет, хотя уже и без подошвы, в тот самый момент, когда Джоун вышла из маленькой гостиной за чуланом и сказала с тоской: "Опять, Тимофей?" Однако она простила его, и ей нравилось сидеть с ним за кухонным столом — они грызли орехи или попивали чаек. Дездемона, старая негритянка,

которая приходила делать уборку по пятницам и с которой одно время сам Господь Бог каждый день разговаривал запросто ("Дездемона, — говорит мне Господь, — этот твой Джордж нехороший человек"), видела однажды, как Пнин в одних плавках, в темных очках, с великолепным православным крестом на широкой груди нежится в таинственном фиолетовом свете своей кварцевой лампы, и с тех пор утверждала, что он святой. Лоренс, поднявшись как-то в свой кабинет, в свое святая святых, в свое тайное логово, хитроумно выкроенное в чердаке, пришел в бешенство, обнаружив там сперва мягкий свет включенной лампы, а потом жирный затылок Пнина, который, укрепившись на своих тоненьких ножках, безмятежно перелистывал в уголке его книги. "Извините, просто тут я немножко пасусь", — вежливо заметил (английский его обогащался не по дням, а по часам) непрощеный гость, взглянув на хозяина через то плечо, которое у него было выше; однако в тот же самый вечер случайная ссылка на редкого автора, беглый намек, молчаливо признанный даже при малом приближении идеи, этот мятежный парус, маячащий на горизонте как-то незаметно для обоих привели к нежному умственному согласию между двумя мужчинами, которые оба себя чувствовали по-настоящему дома только в их собственном, близком им мире настоящей учености. Человеческие существа бывают земными, рациональными, но бывают также иррациональными, так вот, и Клементс и Пнин принадлежали к этой второй разновидности. После того случая они часто "умствовали", столкнувшись и остановившись в дверях, или на лестничной площадке, или на разных ступеньках лестницы (время от времени меняя позицию и снова поворачиваясь лицом друг к другу), или вышагивая навстречу друг другу взад и вперед по комнате, которая существовала для них в этот момент лишь в качестве, пользуясь пнинским термином, *espace meublé*.^[5] Скоро обнаружилось, что Тимофей представлял собой истинную энциклопедию русских кивков и пожиманий плечами, и помаваний, что он даже занимался их классификацией и мог кое-чем пополнить Лоренсову картотеку философской интерпретации изобразительных и неизобразительных, национальных и географически обусловленных жестов. Они являли собой приятное зрелище, эти двое, когда начинали рассуждать об эпосе и религии, и Тимофей возносился наподобие амфоры, а Лоренс рубил воздух резким взмахом руки. Лоренс даже снял на кино пленку те жесты, которые Тимофей считал наиболее важными для русской "карпалистики"^[18], то бишь кистевой жестикуляции, и в этом фильме Пнин, обтянутый спортивной рубашкой, с улыбкой Джоконды на

губах демонстрировал движения, обозначаемые такими русскими глаголами, как *mahnut*, *vsplesnut*, *razvesti*: свободный взмах одной руки сверху вниз в знак усталой уступки; драматический всплеск сразу обеих рук в знак изумленья и горя; и "разводящее" движение — руки разводятся по сторонам в знак бессилья, резины, сдачи на милость. В заключение Пнин очень медленно демонстрировал, как международный жест помавания пальцем при помощи едва заметного, вроде движения кисти руки при фехтовании, полуповорота превращается из русского набожного символа — "Судья Небесный все видит!" в немецкую палочную пантомиму — "ну, ты дождешься!". "Однако, — добавлял объективный Пнин, — русская метафизическая полиция тоже неплохо умеет ломать физические кости".

Принеся извинения за "небрежность туалета", Пнин продемонстрировал этот фильм у себя в группе — и Кэти Кис, аспирантка, записанная в семинар сравнительного литературоведения, в котором Пнин выступал как ассистент доктора Гагена, объявила, что Тимофей Павлович был там вылитый Будда, которого ей довелось видеть однажды в каком-то восточном фильме на азиатском отделении. Эта Кэти Кис, пухленькая и поматерински заботливая девушка, вступившая, вероятно, в двадцать девятую весну своей жизни, при всей своей мягкости была как бы занозой в стареющей плоти Пнина. Лет десять тому назад ее возлюбленным был красивый проходимец, который бросил ее ради маленькой побродяжки, а позднее она оказалась втянутой в какую-то безвылазно сложную, скорей чеховскую, чем достоевскую, любовную историю с инвалидом, который был теперь женат на своей миловидной и ничтожной сиделке. Бедный Пнин колебался. В принципе он не исключал брак. Осиянный своей новою зубопротезной славой, он зашел на одном из семинаров так далеко, что после ухода всех прочих студентов, положив Кэтину руку себе на ладонь, стал поглаживать ее, сидя напротив Кэти за столом и обсуждая с ней стихотворение в прозе Тургенева "Как хороши, как свежи были розы". Кэти едва смогла дочитать до конца, грудь ее распирали вздохи, а рука дрожала на его ладони. "Тургенев, — сказал Пнин, положив ее руку обратно на стол, — был заставляем этой страшной, но им обожаемой певицей Полин Виардо ломать идиота в шарадах и всяких *tableaux vivants*,^[6] а мадам Пушкина произносила: „Ты надоедаешь мне своими стихами, Пушкин“, — а в пожилом возрасте — подумать только! — жена глыбы и колосса, колосса Толстого, гораздо лучше, чем его, любила глупый музыкант с красным ноузом!"^[19]

Пнин ничего не имел против мисс Кис. Пытаясь представить себе свою спокойную дряхлость, он со вполне допустимой ясностью видел, как она подает ему плед или наполняет чернилами ручку. Она вполне ему нравилась — но сердце его принадлежало другой женщине.

Кота, как говаривал Пнин, не можно утаить в мешке. И для того чтобы объяснить то унижительное волнение, которое охватило моего бедного друга как-то вечером в середине семестра — когда он получил некую телеграмму и потом добрых сорок минут мерял шагами свою комнату, — следует признать, что Пнин не всегда был холост. Клементсы играли в китайские шашки в отблесках уютного камина в то время, как Пнин, прогрохотав вниз по лестнице, поскользнулся и чуть не повалился им в ноги, как ходатай в каком-нибудь средневековом городе, стонущем от кривды, однако сумел все же удержать равновесие, но для того только, чтоб наскочить на кочергу и каминные щипцы.

— Я пришел, — сказал он, с трудом переводя дух, — чтобы вас извещать или, выражаясь с большей правильностью, спросить вас, может ли ко мне в субботу приходить с визитом женщина — в дневное время, конечно. Это моя бывшая жена, а ныне доктор Лиза Финт — может быть, вы слышали в психиатрических кругах.

Бывают любимые женщины, чьи глаза, в силу какого-то случайного сочетания их сиянья и формы, воздействуют на нас не напрямую, не в миг смятенного их лицезрения, а посредством взрыва всего накопленного сиянья, который происходит позже, когда бессердечного существа уже нет подле нас, а волшебная световая пытка продолжается, и все лампы ее и линзы установлены в темноте. Какие бы ни были на самом деле глаза у Лизы Пниной, ныне Финт, они лишь тогда представляли в своей водно-алмазной сущности, если вы вызывали их в памяти, и тогда этот плоский, невидящий, влажный аквамаринный блеск становился вдруг пристальным и трепещущим, точно капельки солнца и моря попали вам между ресницами. В жизни глаза ее были прозрачные и светло-синие, оттененные чернотой ресниц, с белками, розовевшими в уголках, и они удлинялись к вискам, где от них по-кошачьему хищно, веерами расходились морщинки. Волосы у нее были темно-каштановые, поднимавшиеся волной над блестящим и белым лбом, цвет лица бело-розовый, а губная помада красная, очень бледная, и если не принимать в учет несколько полноватых лодыжек ее и запястий, то, пожалуй что, не было больше изъянов в ее расцветшей уже, полной жизни, не слишком ухоженной природной красоте. Пнин, в ту пору еще подававший надежды молодой ученый, познакомился с этой юной наядой, более эфемерной, чем ныне, но, по сути, почти не переменившейся, в 1925 году в Париже. У него была тогда редкая рыжеватая борода (теперь, если бы он не брил ее, на подбородке торчали бы только седые щеточки — бедный Пнин, бедный, бедный дикобраз-альбинос!) и эта разделенная надвое монашеская поросль под толстым лоснящимся носом с парой ясных невинных глаз — все это милейшим и лаконичнейшим образом передавало физический облик старомодной интеллигентской России. Весьма скромная должность в Аксаковском институте, что на рю Вар-Вар, и еще одна — в русской книжной лавке Сола Багрова^[20] на рю Грессэ доставляли ему средства к жизни. Лиза Боголепова, студентка-медицинка, которой едва исполнилось двадцать, совершенно очаровательная в своем черненьком шелковом джемпере и на заказ сшитой юбке, уже работала в Медонской санатории, возглавляемой грозной и впечатляющей старой дамой, докторессой Розеттой Кременинг, одним из самых вредоносных психиатров своего времени; и в довершение всего, Лиза еще писала стихи — по большей части спотыкающимся

анapestом; легко догадаться, что впервые Пнин увидел ее на одном из тех литературных вечеров, где молодые эмигрантские поэты, покинувшие Россию еще в дальнюю, нежную пору своего беспрепятственного полового созревания, нараспев читали элегии, посвященные стране, которая едва ли могла быть для них много большим, чем грустная стилизованная игрушка, чем безделушка, найденная на чердаке, хрустальный шарик, в котором, ежели встряхнуть его, мягкий искрящийся снегопад засыпает крошечную елочку и бревенчатую избушку из папье-маше. Пнин написал ей потрясающее любовное письмо — оно и теперь еще цело в частной коллекции, — и она читала его, проливая слезы жалости к себе самой, потому что как раз выздоравливала после суицидальной попытки отравиться таблетками из-за одной весьма глупой романтической истории с литератором, который сейчас... Впрочем, это неважно. Пять психоаналитиков, ее близких друзей, заявили в один голос: "Пнин — и немедля ребенка".

Брак почти не изменил их образа жизни, если не считать того, что она переехала в его унылую квартирку. Он продолжал свои штудии в области славистики, она — свои, в области психодрамы и лирического стиховодства, с редкой яйценокостью, наподобие пасхального кролика, начиненного яйцами, откладывая свои детища по всей квартире, все эти зеленые и розоватолиловые опусы — про дитя, что она хотела бы зачать, про любовников, которых хотела иметь, и про Санкт-Петербург (дань Анне Ахматовой) — каждая интонация, каждый образ и каждое сравнение в них уже были опробованы раньше другими рифмующими кроликами. Один из ее поклонников, банкир и бесцеремонный покровитель искусств, выбрал среди русских парижан влиятельного литературного критика Жоржика Уранского^[21], и за обед с шампанским в кабаре "Уголок" старина Уранский подрядился свой следующий *feuilleton*^[7] в одной из русскоязычных газет посвятить воспеванию Лизиной музыки, на чьи каштановые кудряшки он преспокойно возложил поэтическую корону Анны Ахматовой, от чего Лиза разразилась счастливыми рыданиями — точь-в-точь как рыдает какая-нибудь крошка Мисс Мичиган или Королева Орегонской Розы после объявления результатов конкурса. Пнин, которому не все подробности были известны, носил в своем честном бумажнике газетную вырезку с этими бессовестными восторгами и с простодушием зачитывал отрывки из нее то одному, то другому немало над этим потешавшемуся приятелю до тех пор, пока вырезка не стала вовсе уж истрепанной и грязной. Ничего не известно ему было и о более серьезных ее увлечениях, так что он как раз

сидел дома и клеивал обрывки газетной статьи в альбом, когда Лиза позвонила ему из Медона в тот декабрьский день 1938 года и сообщила, что она уезжает в Монпелье с человеком, который понимает ее "органическое я", а именно с доктором Эриком Финтом, и что он, Тимофей, больше никогда ее не увидит. Какая-то незнакомая рыжеволосая француженка зашла к нему, чтобы забрать Лизины вещи, и сказала, ну что, конторская крыса, нет у тебя больше бедной девочки, чтоб ее taper dessus,^[8] — а еще месяц-два спустя добралось до него письмо доктора Финта из Германии, выражавшее сочувствие, приносившее ему извинения и заверявшее *lieber Herr Pnin*,^[9] что он, доктор Финт, жаждет сочетаться браком с "женщиной, которая ушла из вашей жизни в мою".

Пнин, конечно, дал бы ей развод с той же готовностью, с какой отдал бы и самую жизнь, перерезав влажный ее стебель, добавив к букету папоротник и все завернув в хрустящий пергамент, как в пахнущей грунтом цветочной лавке, когда льет дождь, обращая пасхальный день в мерцание серых и зеленых зеркал; но тут выяснилось, что в Южной Америке у доктора Финта есть жена, у которой какие-то странные идеи и фальшивый паспорт и которая не хочет, чтоб ее тревожили, пока не прояснится, как обстоит дело с осуществлением ее планов. Тем временем Пнина тоже стал манить Новый Свет: старый его друг профессор Константин Шато предложил ему из Нью-Йорка всяческую помощь в перемещении за море. Пнин известил доктора Финта о своих планах, а Лизе послал последний номер *émigré*^[10] журнала, где она была упомянута на странице 202. Он уже проходил через тот унылый ад, который изобретен был европейскими бюрократами (к немалой потехе Советов) для обладателей смехотворной бумажки, называемой нансеновским паспортом^[22] (нечто вроде удостоверения, даваемого узнику, освобожденному под честное слово, и выданного всем русским *émigré*), когда в одно сырое апрельское утро 1940 года раздался сильный звонок в дверь, ввалилась Лиза, тяжело дыша и неся перед собой, точно буфет с выдвижными ящиками, груз семимесячной беременности, и объявила, срывая с себя шляпку и скидывая туфли, что все это была ошибка и что отныне она снова будет Пнину верной и послушной женой, которая готова последовать за ним куда угодно — даже за океан, если потребуется. Это были, наверно, самые счастливые дни в его жизни — ровное, непреходящее сияние полновесного, мучительного счастья — и прорастание виз, и сборы, и медицинский осмотр, когда прямо через одежду глуховатый врач приставлял свой глупоглухой стетоскоп к переполненному до краев сердцу Пнина, и хлопоты в американском

консульстве, где эта русская дама (моя родственница) была так добра к ним, и поездка в Бордо, и этот опрятный красавец корабль — во всем был такой сильный привкус волшебной сказки. Он не только согласен был объявить о своем отцовстве, едва ребенок появится на свет, но и полон был страстного желания это сделать, и она слушала с довольным и отчасти коровьим выражением на лице, когда он разворачивал перед ней свои педагогические планы, ибо и вправду казалось, что до него долетают еще не раздавшийся первый крик младенца, а также его первое, недалекое уже слово. Она всегда любила засахаренный миндаль, но сейчас она поглощала его просто в невероятных количествах (два фунта между Бордо и Парижем), и аскетический Пнин, созерцая ее алчность, качал головой и пожимал плечами в благоговейном восторге, и что-то от шелковистой гладкости этих dragées^[11] осталось в его сознании навсегда слитое с воспоминаньем о ее тугой коже, о белизне лица, о ее безупречных зубах.

Было, конечно, немножко жаль, что, едва взойдя на борт и взглянув на беспокойное море, она сказала: "Ну, eto izvinite" (Это уж извините) и проворно ретировалась в утробу корабля, где и пролежала на спине чуть не все время, пока пересекали они океан, в каюте, которую делила с многоречивыми женами трех немногословных поляков — борца, садовника и парикмахера, — бывших попутчиками Пнина. На третьи сутки их путешествия, просидев весь долгий вечер в салоне, после того как Лиза отправилась спать, Пнин охотно принял предложение сразиться в шахматы с бывшим редактором франкфуртской газеты, грустным патриархом с мешковатыми подглазьями, одетым в свитер с высоким воротником и брюки гольф. Оба они играли плохо; оба эффектно, но неразумно жертвовали фигуры; оба слишком возбужденно желали победы: игру оживлял к тому же фантастический немецкий язык, на котором изъяснялся Пнин ("Wenn Sie so, dann ich so, und Pferd fliegt"^[12]). Потом подошел еще один пассажир, извинился entschuldigen Sie,^[13] спросил, можно ли ему понаблюдать за их партией? И уселся рядом. У него были рыжеватые, коротко стриженные волосы и длинные белесые ресницы, приводившие на память ночную моль, одет он был в потертый двубортный пиджак, и, едва усевшись, он начал чуть слышно цокать языком и качать головой всякий раз, когда патриарх, после долгого, многозначительного раздумья, вдруг наклонялся вперед, чтобы сделать какой-нибудь совершенно безумный ход. В конце концов этот активный зритель, судя по всему знаток, не удержался от искушения и вернул на место только что выдвинутую пешку своего соотечественника, дрожащим пальцем указывая при этом на

ладью — которую франкфуртский патриарх неосторожно задвинул в самую подмышку пнинской обороны. Наш друг проиграл, конечно, и уже собирался было покинуть салон, когда знаток шахмат вдруг остановил его, извинившись entschuldigen Sie и спросив, не может ли он перекинуться парой слов с герром Пниным? ("Как видите, я знаю вашу фамилию", — заметил он как бы в скобках, поднимая свой предприимчивый палец) — и предложил выпить в баре по кружке пива. Пнин согласился, и когда перед ними на стойке были поставлены две кружки, вежливый незнакомец заговорил снова: "В жизни, как и в шахматах, всегда лучше проанализировать мотивы человека и его намерения. В тот день, когда я взошел на борт корабля, я вел себя как беспечный ребенок. Однако уже в следующее утро я стал опасаться, что проницательный супруг — это вовсе не комплимент, а гипотеза, выведенная из ретроспективы, — раньше или позже ознакомится со списком пассажиров. Сегодня моя совесть судила меня и признала виновным. Я больше не могу выносить обман. Ваше здоровье. Это, конечно, не наш немецкий напиток богов, но все же это лучше, чем кока-кола. Меня зовут Эрик Финт; имя для вас, увы, небезызвестно".

В молчании, с искаженным лицом, все еще не снимая ладонь с мокрой стойки бара, Пнин стал неуклюже сползать с неудобного грибообразного стула, но Финт положил все пять своих длинных чувствительных пальцев ему на рукав.

"Lasse mich, lasse mich", ^[14] — жалобно причитал Пнин, пытаясь отбиться от этой мягкой, ласкающей руки.

— Пожалуйста! — сказал доктор Финт. Будьте справедливы. Последнее слово всегда за осужденным; это его право. Даже нацисты это признают. И прежде всего — я хочу, чтобы вы позволили мне оплатить хотя бы половину того, что стоит проезд дамы.

— Ach, nein, nein, nein, ^[15] — сказал Пнин. — Давайте покончим с этим кошмарным разговором (diese koschmarische Sprache ^[16]).

— Как вам угодно, — сказал доктор Финт, но продолжал вбивать в пригвожденного к месту Пнина следующие пункты: что вся эта затея была придумана Лизой — "чтобы облегчить все эти дела, сами понимаете, во имя нашего ребенка" (слово "нашего" прозвучало как-то тройственно); что к Лизе надо относиться как к очень больной женщине (беременность ведь не что иное, как сублимация позыва к смерти); что он (доктор Финт) женится на ней в Америке — "куда я также направляюсь", — добавил доктор Финт для полной ясности; и что ему (доктору Финту) следует

позволить хотя бы заплатить за пиво. Начиная с этого вечера и до самого конца их путешествия, которое из зеленого и серебристого стало однообразно серым, Пнин демонстративно погрузился в самоучители английского языка, и хотя к Лизе он относился с неизменной мягкостью, он все же старался видеть ее так редко, как только это возможно было делать, не вызвав у нее при этом подозрений. Время от времени доктор Финт вдруг возникал на его пути откуда-то из небытия и подавал ему издали в знак приветствия всякие ободряющие знаки. И наконец, когда огромная статуя выросла из утренней дымки с той стороны, где готовые воспламениться в первых лучах солнца бледные зачарованные здания маячили подобно загадочным неравной высоты прямоугольникам на таблицах, представляющих сравнительное процентное соотношение чего-либо (природных ресурсов, частотности возникновения миражей в различных пустынях), доктор Финт решительно подошел к Пниным и представился — "ибо мы должны, все трое, вступить в страну свободы с чистым сердцем". И после трагикомического пребывания на Эллис-Айленд Тимофей и Лиза расстались.

Были у них осложнения, но в конце концов Финт все же на ней женился. На протяжении первых пяти лет в Америке Пнин видел ее несколько раз в Нью-Йорке; он и Финт получили американское гражданство в один и тот же день; позднее, после его отъезда в Уэйндел в 1945-м, он лет шесть не видел ее и не получал от нее писем. Однако вести о ней доходили до него время от времени. Так, совсем недавно (в декабре 1951-го) его друг Шато прислал ему номер психиатрического журнала со статьей доктора Альбины Бункерглуб, доктора Эрика Финта и доктора Лизы Финт о "Групповой психотерапии в применении к семейным консультациям". Пнина всегда смущали Лизины "psihooslinie" (психоослиные) увлечения, и даже сейчас, когда это ему должно было уже быть безразлично, он ощутил внезапный укол жалости и огорчения. Они с Эриком работали под началом великого Бернарда Мэйвуда, добродушного великана, которого сверхпереимчивый Эрик называл Боссом, в Исследовательской лаборатории при Центре планирования семьи. Поощряемый его и жены его покровителем Эрик разрабатывал хитроумную идею (может, даже и не ему принадлежавшую), которая заключалась в том, чтоб заманивать наиболее сговорчивых и глупых посетителей Центра в некую психотерапевтическую ловушку — "стрессо-расслабительную" группу, нечто вроде деревенских вязальных посиделок; молодые замужние женщины расслаблялись в атмосфере жизнерадостного панибратства в каком-нибудь уютном помещении за столом, во главе которого сидел врач, а

сбоку пристраивалась секретарша, ненавязчиво производившая записи, — и всякие травмирующие эпизоды всплывали там из их детства наподобие трупов. На этих сборищах жен побуждали с полной откровенностью обсуждать технические проблемы своих брачных невзгод, после чего, конечно, анализ достоинств их партнеров, которые проходили позднее подобное же собеседование в "группе мужей", где царили та же непринужденная атмосфера, обмен сигарами и анатомическими таблицами. Проглядывая статью, Пнин пропустил отчеты о текущих сборищах и об отдельных случаях патологии — да и у нас тоже нет нужды входить в эти веселенькие подробности. Достаточно сказать, что уже на третьем сборище женской группы, после того как та или другая дама, вернувшись домой с посиделок, прозрела, а потом поведала о своих новых ощущениях пока еще не раскрепостившимся, но исполненным энтузиазма товаркам, звенящая нота регенерации сил стала приятно оживлять процедуру сеансов ("Так вот, девочки, когда Джордж прошлой ночью..."). Это еще не все. Доктор Эрик Финт собирался разработать методику, которая позволила бы сводить всех этих мужей и жен вместе, в единую группу. Просто жуть брала, когда Лиза и Финт со смаком произносили это слово "группа". В длинном письме, так расстроившем Пнина, профессор Шато утверждал, что доктор Финт даже сиамских близнецов называет "группой". И конечно же, идеалисту и прогрессисту Финту виделся в его грезах счастливый мир, населенный сросшимися в сотни сиамскими младенцами, анатомически связанными сообществами, целыми нациями, сгруппированными вокруг одной всеобщей печени. "Вся эта их психиатрия — не что иное, как некий микрокосм коммунизма, — с негодованием писал Пнин в ответном письме доктору Шато. — Почему бы не оставить людям их личные горести? Разве, скажите мне, горе не единственное в этом мире, что по-настоящему принадлежит человеку?"

— Знаешь, — сказала Джоун мужу поутру в субботу. — Я решила предупредить Тимофея, что с двух до пяти дом будет сегодня целиком в его распоряжении. Мы должны предоставить больше возможностей этим бедняжкам. Мне есть чем заняться в городе, а тебя кто-нибудь подбросит до библиотеки...

— Как назло, — возразил Лоренс, — у меня нет ни малейшего желания, чтоб меня куда бы то ни было подбрасывали, да и вообще я сегодня не собирался выходить из дому. К тому же вероятность того, что для воссоединения им понадобится восемь комнат, крайне невелика.

Пнин надел свой новый коричневый костюм (купленный на кремонскую лекцию) и, наспех пообедав в ресторане "Яйцо и мы", пошел через парк, убранный заплатами снега, к уэйндельской автобусной станции, куда явился на целый час раньше срока. Ему и в голову не пришло раздумывать, зачем именно вдруг понадобилось Лизе срочно повидать его на обратном пути из школы Святого Варфоломея близ Бостона, куда ее сын должен был пойти учиться со следующей осени: он знал лишь то, что прилив счастья вздымался и пенился за невидимой плотиной и готов был в любую минуту прорваться через этот заслон. Пнин пропустил пять автобусов, и в каждом из них ему с ясностью виделась Лиза, которая на остановке махала ему рукой из-за стекла, продвигаясь к выходу вместе с другими пассажирами, однако автобусы пустели один за другим, а ее все не было. И вдруг он услышал ее звонкий голос у себя за спиной ("Timofey, zdrastvuy!") и, повернувшись, увидел, что она выходит из того единственного "грейхаунда"^[23], на котором по его мнению, она уж никак не могла приехать. Какие перемены смог разглядеть в ней наш друг? О, да какие могли быть перемены. Боже милосердный! Это была она. Ей всегда было весело и жарко, какие бы ни стояли холода, вот и сейчас тоже котиковая шуба была у нее широко распахнута, открывая блузку с оборочками, когда она прижимала к себе голову Пнина, и он ощущал этот горьковатый грейпфрутовый аромат ее шеи и все бормотал: "Nu, nu, vot i horosho, nu vot" — просто некие словесные подпорки для сердца, — а она воскликнула: "Ах, какие у него великолепные новые зубы!" Он посадил ее в такси, яркий ее прозрачный шарф зацепился за что-то, и Пнин поскользнулся на мостовой, а таксист сказал: "Осторожно" и забрал у него ее сумку, и все это уже случалось с ними раньше, совершенно в той же

последовательности.

Так вот, сказала она, когда они ехали по Парковой, эта школа в духе английской традиции. Нет, есть она не хочет, она плотно пообедала в Олбэни. Это "очень модная" школа, очень "фэнси" — это она сказала по-английски, — мальчики там играют в какой-то особый теннис в помещении, руками, от стены до стены, и в одном классе с ним будет учиться... (Здесь она с деланной небрежностью назвала какую-то известную американскую фамилию, которая ровным счетом ничего не говорила Пнину, потому что не принадлежала ни поэту, ни президенту.) "Кстати, — перебил ее Пнин, вдруг подныривая и тыча пальцем в окно, — отсюда можно видеть самый уголок университетского кампуса^[24]". И все это удалось устроить ("Ну да, вижу, vizhu, vizhu, kampus как kampus: обычная вещь"), все, включая и стипендию, благодаря влиянию доктора Мэйвуда ("Знаешь, Тимофей, ты должен как-нибудь написать ему два слова, просто из вежливости"). Директор школы, сам он священнослужитель, показал ей спортивные призы, которые Бернард завоевал еще мальчиком. Эрик, конечно, хотел, чтобы мальчик пошел в обычную школу, но его удалось переспорить. Жена преподобного Хоппера — племянница английского графа.

— Вот мы и приехала. Это мое palazzo,^[17] — игриво сказал Пнин, которому так и не удалось вникнуть в содержание ее стремительной речи.

Они вошли — и он вдруг почувствовал, что этот день, которого он ждал с таким мучительным нетерпением, проходит слишком быстро — уходит, уходит, и вот уже скоро уйдет, через несколько коротких минут. Может, если б она сразу сказала, чего она хочет от него, то день хоть немного замедлил бы свой бег, и тогда Пнин смог бы им по-настоящему насладиться.

— Какой жуткий дом, какоу zhutkiy dom, — сказала она, сидя на стуле у телефона и снимая ботинки — такие знакомые движения! — Взгляни только на эту акварель с минаретами. Это, должно быть, ужасные люди.

— Нет, — сказал Пнин. — Это мои друзья.

— Мой дорогой Тимофей, — сказала она, поднимаясь за ним по лестнице. — У тебя в свое время были довольно жуткие друзья.

— А это моя комната, — сказал Пнин.

— Я, пожалуй, прилягу на твоей девственной кровати, Тимофей. Еще минуточку, и я прочту тебе свои новые стихи. Снова подкрадывается моя адская головная боль. А я так себя великолепно весь день чувствовала.

— У меня есть аспирин.

— Эн-эн, — сказала она, и это благоприобретенное отрицание так странно выделялось в ее русской речи.

Он отвернулся, когда она начала снимать туфли, они шлепнулись об пол, и этот звук напомнил ему давно ушедшие времена.

Она лежала на спине — черная юбка, белая блузка, волна каштановых волос, розовая ладонь прикрывает глаза.

— А как вообще дела? — спросил Пнин (хоть бы сказала, чего она хочет от меня, скорей!), усаживаясь в белое кресло-качалку у батареи.

— Работа очень интересная, — сказала она, все еще прикрывая глаза от света, — но я должна сообщить тебе, что больше не люблю Эрика. Произошла дезинтеграция наших отношений. И между прочим, Эрик не любит своего ребенка. Он говорит, что он земной отец сына, а ты, Тимофей, ты его водный отец.

Пнин залился смехом; он просто катался от смеха, и хрупкое подростковое креслице трещало под ним. Глаза его звездно сияли и были мокры от слез.

Она с любопытством взглянула на него из-под пухлой руки — потом продолжила:

— В отношении к Виктору Эрик предстает как единый и очень жесткий эмоциональный блок. Представляю, сколько раз мальчик должен был убивать его в своих снах. Что до Эрика, то в его случае — и я это давно заметила — вербализация скорее запутывает, чем проясняет, проблему. Он очень трудный человек. Какой у тебя оклад, Тимофей?

Он назвал цифру.

— Что ж, — сказала она, — не слишком роскошно. Но думаю, ты можешь даже откладывать немножко — это ведь более чем достаточно для твоих нужд, Тимофей, для твоих микроскопических нужд.

Ее живот, туго схваченный поясом под черной юбкой, два или три раза подпрыгнул при этом немом, уютном и благодушном смешке, уводящем в воспоминание, — а Пнин высморкался, не переставая качать головой, все еще во власти своего безудержного, сладострастного веселья.

— Вот слушай — мои последние стихи, — сказала она и, лежа на спине совершенно прямо с вытянутыми вдоль тела руками, стала напевно, ритмически и протяжно читать своим глубоким голосом:

Ya nadela tyomnoe plat'e,
Я надела темное платье,
I monashenki ya skromney;
И монашенки я скромней;

Iz slonovoy kosti raspyat'e
Из слоновой кости распятие
Nad holodnoy postel'yu moyey,
Над холодной постелью моей.

No ogni nebivalich orgiy
Но огни небывалых оргий
Prozhigayut moyo zabityo,
Прожигают мое забытье,
I schepchu ya imya Georgiy —
И шепчу я имя Гергий —
Zolotoe im'a twoyo!
Золотое имя твое! [\[25\]](#)

— Он очень интересный человек. — продолжала она без всякой паузы. — В сущности, почти англичанин. В войну летал на бомбардировщике, а сейчас он в одной маклерской конторе, но там его не понимают и ему не сочувствуют. Он из старинной семьи. Отец его был мечтатель, у него было плавучее казино и все такое, сам знаешь, но его разорили какие-то еврейские гангстеры во Флориде, и он добровольно пошел в тюрьму за другого; в этой семье все герои.

Она перевела дух. Пульсация и звяканье беленых органных труб не нарушали, а лишь подчеркивали тишину, царившую в маленькой комнате.

— Я обо всем рассказала Эрику, — продолжала она со вздохом. — И теперь он уверяет меня, что он мог бы меня исцелить, если только я пойду ему навстречу. К сожалению, я уже иду навстречу Георгию.

Она произносила английское Джордж, как русское Георгий — с двумя твердыми "г" и двумя долгими "и".

— Что ж, c'est la vie, [\[18\]](#) как оригинально выражается Эрик. Как ты можешь тут спать, у тебя же паутина свисает с потолка? — Она взглянула на ручные часы. — О господи, мне ж надо успеть на автобус в четыре тридцать. Через минутку тебе придется вызвать для меня такси. А теперь я должна буду сказать тебе кое-что очень важное.

Сейчас оно будет наконец — так поздно.

Она хочет, чтоб Тимофей откладывал каждый месяц немножко денег для мальчика — потому что она теперь не может просить об этом Бернарда Мэйвуда — а с ней все может случиться — а Эрику наплевать на все — и кто-то должен посылать парню время от времени немножко денег, так,

будто это от матери — на карманные расходы, сам знаешь — там вокруг будут мальчики из богатых семей. Она напишет, чтобы сообщить ему адрес и уточнить еще кое-что. Да — она никогда и не сомневалась, что Тимофей душка ("Nu kakoy zhe ti dushka"). А теперь — где тут ванная комната? И пусть он, ради Бога, вызовет такси.

— Между прочим, — сказала она, когда он подавал ей мантию и при этом, как всегда, нахмурясь, искал беглый рукав, а она шарила рукой и царапала подкладку, — знаешь, Тимофей, твой коричневый костюм — это ошибка: джентльмен не носит коричневое.

Проводив ее, он пошел назад через парк. Удержать ее, держать ее при себе — такую, как она есть — с ее жестокостью, ее вульгарностью, с ее слепящими синими глазами, с ее жалкими стихами, ее толстыми ногами, с ее нечистоплотной, сухой, корыстной, инфантильной душой. Ему вдруг пришла мысль: если люди соединяются на небесах (я не верю этому, но положим, что это так), то как я смогу помешать тому, что она приползет ко мне, переползет там через меня, эта ссохшаяся, беспомощная, увечная тварь, ее душа? Но мы пока на земле, и я, как ни странно, еще жив, и есть что-то такое во мне и в самой жизни...

Показалось, что он совсем неожиданно (ибо людское отчаянье редко ведет к открытию великих истин) оказался на пороге простого решения вселенской загадки, однако здесь неотложная просьба отвлекла его внимание. Белка, сидевшая под деревом, увидела на дорожке Пнина. В одно волнообразное и цепкое движение умный зверек взлетел на край питьевого фонтанчика, и когда Пнин приблизился, белка, надув щеки, обратила к нему с грубоватым клекотом свою округлую мордочку. Пнин понял ее зов и, пошарив немного, отыскал, что там надо было нажать, чтобы добиться искомого результата. С презрением наблюдавший за его усилиями зверек, мучимый жаждой, начал теперь прикладываться к сверкающему водяному столбику и пил довольно долгое время. "У нее жар, вероятно", — думал про себя Пнин, проливая слезы обильно и тихо, но не забывая при этом вежливо давить на рычажок фонтанчика и стараясь избегать недружелюбного взгляда белки. Усмирив жажду, белка пустилась прочь, не выказав никаких признаков благодарности.

А водный отец продолжал между тем свой путь и, дойдя до конца аллеи, свернул на боковую улочку, где в бревенчатой избушке с рубиновыми стеклами в створчатых переплетах окон размещался небольшой бар.

В четверть шестого, когда Джоун вернулась домой, волоча полную сумку провизии, два журнала и три пакета, она обнаружила в почтовом ящике у двери срочное авиаписьмо от дочери. Прошло уже три недели со времени последнего письма, в котором Изабел кратко извещала родителей, что после свадебного путешествия по Аризоне она благополучно прибыла на родину мужа. Жонглируя пакетами, Джоун вскрыла конверт. Письмо было исступленно счастливое, и Джоун проглотила его с облегчением, в сиянье которого окружающие предметы словно бы поплыли у нее перед глазами. На входной двери она нащупала, а потом также и увидела, на мгновение удивившись этому, ключи Пнина, вместе с кожаным чехольчиком свисавшие из замочной скважины, точно некая интимная часть его внутренностей; Джоун отперла ими дверь и, едва войдя, услышала, что из кладовки доносится громкий анархический перестук — дверцы буфета открывались и захлопывались одна за другой. Джоун опустила свою сумку и пакеты на кухонный стол близ посудомойки и обратила лицо в сторону кладовки: "Что ищешь, Тимофей?"

Он вышел из кладовки, густо покраснев, взгляд его дико блуждал, и Джоун со смятением обнаружила, что лицо его исполосовано невытертыми слезами.

— Я ищу, Джоун, вискоз и содовник, — сказал он трагически.

— Боюсь, что содовой нет, — отозвалась она со своей ясной англосаксонской сдержанностью. — А вот виски в столовой в шкафчике сколько угодно. Я, впрочем, предлагаю вместо этого выпить со мной горячего чая.

Он махнул рукой — этот отчаянный русский жест: "а-а, будь что будет".

— Нет, я вообще ничего не пожелаю, — сказал он и сел за кухонный стол с ужасающим вздохом.

Джоун присела рядом с ним за стол и открыла один из купленных ею журналов.

— Давай, Тимофей, поглядим картинки.

— Не хочу, Джоун. Ты же знаешь, я не могу понять, что есть реклама и что не есть реклама.

— Да ты сиди себе гляди, Тимофей, а я все объясню. Взгляни — вот эта мне нравится. Очень остроумно. Здесь два сюжета вместе — "необитаемый остров" и "девушка в пузыре". А теперь погляди сюда,

Тимофей... ну, пожалуйста, — он нехотя надел очки, — это вот необитаемый остров и одинокая пальма, а это обломок плота, а это моряк, потерпевший кораблекрушение, а это вот корабельная кошка, которую он спас, а вот здесь, на скалах...

— Невозможность, — сказал Пнин. — Столько маленький остров, тем более с пальмой, не может существовать в таком большом море.

— И все-таки он существует.

— Невозможное одиночество, — сказал Пнин.

— Да, но... Право, так нечестно, Тимофей. Ты сам отлично помнишь, как ты согласился с Лором, что мир разума основан на компромиссе с логикой.

— Имеются оговорки, — сказал Пнин. — Во-первых, сама логика...

— Согласна, но боюсь, мы отвлеклись от смешной картинки. Вот смотри. Это моряк, это кошечка, а это довольно грустная русалка, которая над ними парит, а теперь взгляни на эти пузыри, над моряком и над кошкой.

— Атомный взрыв, — печально сказал Пнин.

— Нет, вовсе нет. Гораздо смешнее. Эти круглые пузыри — это как бы проекция их мыслей. Теперь мы как раз подходим к смешному. Моряку русалка видится с ногами, а коту она вообще вся видится рыбой.

— Лермонтов, — сказал Пнин, подняв два пальца, — выразил все, что можно сказать о русалках в двух стихотворениях^[26]. Я не понимаю американского юмора даже тогда, когда я в хорошем настроении, и я должен сказать... — Дрожащими руками он снял очки, локтем сдвинул журнал и, опустив голову на руки, разразился сдавленными рыданиями.

Она услышала, как отворилась, а потом захлопнулась входная дверь, и еще через мгновение Лоренс, делая вид, что он подкрадывается на цыпочках, заглянул в кухню. Джоун махнула ему правой рукой, чтоб он уходил; левой она указала ему на конверт с радужной рамочкой, лежавший поверх ее пакетов. Заговорщицкая улыбка, которой блеснуло ее лицо, была как бы кратким изложением письма Изабел; он сграбастал его и вышел, снова на цыпочках, теперь уж не ради шутки.

Бесполезно могутные плечи Пнина продолжали содрогаться. Джоун закрыла журнал и с минуту разглядывала обложку: кукольно-яркие малыши-школьники, Изабел и малышка Гагенов, неупотребительная пока тень деревьев белый шпиль, колокола Уэйндела.

— Она не хочет вернуться? — мягко спросила Джоун. Пнин, не поднимая головы, стал бить по столу вялым кулаком.

— У меня не ешт ништо, — причитал он в промежутках между громким и влажным шмыганьем. — Ништо не оставался, ништо, ништо!

ГЛАВА 3

На протяжении восьми лет, что Пнин преподавал в Уэйндельском университете, он менял жилье — по разным причинам, чаще всего звуковым — примерно раз в семестр. Нагромождение в его памяти всех этих друг друга сменявших комнат похоже было на демонстрацию мебели, когда составленные вместе кресла и кровати, и лампы, и укромные закутки близ камина, пренебрегая несовпадением времен и пространства, соединяются в мягком полусвете мебельной лавки, а за окнами ее идет снег, и сгущаются сумерки, и никто никого не любит по-настоящему. Его комнаты уэйндельского периода представлялись особенно опрятными при сравнении с той комнатой, что он занимал в Нью-Йорке, между Центральным Парком и Риверсайдом^{27}, в квартале, от которого запомнились грязные бумажки вдоль тротуара, яркое пятно в том месте, где нагадила собака и куда кто-то уже успел вступить, и еще то, что какой-то мальчик неумоимо стучал мячом по ступенькам высокого бурого крыльца; но даже и эта комната представала в памяти Пнина (где отдавались еще удары детского мяча) как просто шикарная в сравнении со старыми, теперь уже смутными за налетом пыли жилищами его долгого центрально-европейского нансеновско-паспортного периода.

С годами Пнин становился, однако, разборчивым. Красивой обстановки ему теперь было мало. Уэйндел был тихий городок, а Уэйнделвилл, что в теснине среди холмов, и того тише; но ничто больше не казалось Пнину достаточно тихим. В начале его здешней жизни была у него однокомнатная квартирка в заботливо обставленном Университетском доме для одиноких преподавателей, которая, несмотря на кое-какие недостатки, неизбежные в общежитии ("Партию в пинг-понг, Пнин?" — "Я более не поигрываю в эти игры детей"), представляла собой очень милое обиталище, пока не пришли рабочие и не начали сверлить дырки в мостовой — Черепнин-стрит, Пнининград, — а потом латать ее заново, и еще и еще, долгими неделями, среди вспышек трепещущих черных зигзагов и ошеломленных пауз, и казалось, что им уже никогда не отыскать ценный инструмент, который они там где-то зарыли по ошибке. А еще была (если уж выуживать здесь и там, то какие-нибудь особенно насолившие ему места) комната в этой исключительно герметичной на вид Герцогской Резиденции в Уэйнделвилле: очаровательный kabinet, над которым, однако, каждый вечер под аккомпанемент хлопающих дверей и сокрушительных

сортирных каскадов две чудовищные статуи угрюмо топали на грубых каменных ногах — образы эти нелегко было примирить с хрупким телосложением истинных обитателей верхней квартиры — ими оказались супруги Старр с отделения изящных искусств ("Я Кристофер, а это Луиза"), ангельски деликатная супружеская пара, которая живо интересовалась Достоевским и Шостаковичем. Была у него также — в другом меблированном доме — еще более удобная комната, совмещавшая кабинет и спальную, и туда никто не ломился к нему в гости, рассчитывая на бесплатный урок русского языка; однако едва только великолепная уэйндельская зима начала вторгаться в этот уют посредством пронзительных сквозняков, проникавших не только через окна, но даже через стенной шкаф и штепсельные розетки близ пола, в комнате стали возникать какие-то нотки безумия и мистические миражи — настойчивый ропот музыки, более или менее похожей на классическую, странным образом сосредоточившийся в серебристом радиаторе отопления. Пнин пытался приглушить эту музыку, накрывая радиатор одеялом, как накрывают клетку с певчей птичкой, но музыка не унималась до тех самых пор, пока престарелую матушку миссис Тэйер не свезли в больницу, где она и скончалась, — только тогда радиатор переключился на канадский диалект французского языка.

Перепробовал он и жилища другого типа: снимал комнаты в частных домах, которые хоть и отличались чем-нибудь друг от друга (не все, например, имели дощатые стены, иные были оштукатурены или хотя бы частично оштукатурены), все же отмечены были общей родовой чертой: на книжных полках в гостиной или на лестничной площадке там с неизменностью присутствовали томики Хендрика Виллема ван Луна^{28} и доктора Кронина^{29}; они могли быть разделены стайкой журналов, или пухлыми с гляncем историческими романами, или даже твореньями миссис Гарнет^{30} в своем очередном воплощении (в таких домах непременно висел где-нибудь плакат с репродукцией Тулуз-Лотрека), но уж эту-то парочку вы непременно находили на полке, где они, узнавая друг друга, обменивались нежными взглядами, как двое старых друзей на многолюдной вечеринке.

На какое-то время он возвратился в Университетский дом, но так же поступили и сверлильщики мостовой, а вдобавок там появились еще и новые неудобства. К моменту нашего рассказа Пнин все еще снимал комнатку с розовыми стенами и белыми оборочками у Клементсов, и это был первый дом, который ему по-настоящему нравился, а также первая комната, в которой он прожил больше года. К настоящему времени ему уже удалось вытравить все следы прежней обитательницы комнаты; во всяком случае, он так думал, потому что он не разглядел, и вероятно уже никогда теперь не разглядит, смешную рожицу, накаляканную на стене и скрытую за изголовьем его кровати, а также полустершиеся карандашные отметки на дверной притолоке, низшая из которых отметила в 1940 году рост в метр двадцать.

Уже больше недели Пнин хозяйничал в доме один: Джоун Клементс улетела в какой-то западный штат навестить свою замужнюю дочь, а еще через несколько дней, едва начав читать свой весенний курс философии, улетел на Запад и профессор Клементс, вызванный туда срочной телеграммой.

Наш друг не спеша позавтракал, с удовольствием налегая на молоко, которое продолжали поставлять отсутствующим хозяевам, и в половине десятого приготовился к обычной своей прогулке до университетского кампуса.

У меня на сердце тепло становилось, когда я наблюдал, как по-русски, по-интеллигентски он надевает пальто: его склоненная голова демонстрирует свое идеальное облысение, его острый, как у Герцогини из Страны чудес, подбородок^[31] крепко прижимает к груди сложенный накрест зеленый шарф, чтобы он удержался на месте, когда владелец его, резко дернув широкими плечами, ухитрится попасть в оба рукава сразу; еще один вздох, и пальто надето.

Он берет свой portfel (портфель), проверяет, все ли в него уложено, и выходит из дому.

Он отошел от крыльца лишь на расстояние газетного перелета, когда вспомнил, что должен срочно вернуть университетской библиотеке книгу, затребованную каким-то другим читателем. Одно мгновение в нем происходила внутренняя борьба; ему еще самому нужен был этот том; однако доброжелательный Пнин слишком хорошо мог понять этот

нетерпеливый трепет другого (ему неизвестного) ученого, чтобы не вернуться в дом и не взять с собой объемистую, тяжелую книгу: это был том, главную часть которого составляла толстовиана — 18-й том из Sovetskiy Zolotoy Fond Literaturi (Советского Золотого Фонда Литературы^{32}), Moskva-Leningrad, 1940.

В произнесении звуков английского языка участвуют гортань, мягкое небо, губы, язык (этот Полишинель труппы) и, наконец, последней по порядку, но не своему значению — нижняя челюсть; именно ее неумеренно энергичным и отчасти жевательным движениям Пнин отводил главную роль, занимаясь в классе переводом отрывков из учебника русской грамматики или какого-нибудь стихотворения Пушкина. И если русская речь его была музыкой, то английская — смертоубийством. У него были невероятные трудности (слово это на пнинском "инглиише" звучало как "дзиифиикуултсии") с твердыми согласными, и он никогда не мог избавиться от избыточной русской влажности, произнося "t" и "d", которые он так причудливо смягчал перед гласными. Его взрывное "hat" ("шляпа" — "Я никогда не двигаюсь в шляпе, даже зимой") отличалось от обычного американского произношения этого слова — "hot" (именно так произносят его уэйндельские горожане, что, как известно, соответствует английскому "жаркий") лишь своей краткостью, что, однако, делало его похожим на немецкий глагол "hat" ("имеет"). Долгие "о" с неизбежностью становились у него короткими: его отрицание "ноу" с определенностью превращалось у него в итальянское "но", и это становилось особенно заметным из-за этой его привычки утраивать простое отрицание ("Вас подвести, мистер Пнин?" — "Но-но-но, я имею отсюда жить два шага"). Он вовсе не употреблял (даже не замечая этого) долгих "у"; единственное, что он способен был произнести, когда нужно было сказать, например, "пооп", была вялая гласная из немецкого слова "nup".^[19] ("Я не имею уроков вторником после полудня — „afternup“. А сегодня есть вторник".)

Вторник-то вторник; но вот какое же все-таки число, спросим мы. День рождения Пнина приходился, к примеру, на 3 февраля по Юлианскому календарю, согласно которому он и рожден был на свет в Санкт-Петербурге в 1898 году. Он больше не отмечал его, отчасти потому, что после отъезда из России день этот как-то незаметно предстал в Грегорианском обличье (на тринадцать, нет, на двенадцать дней позже), а отчасти и потому, что на протяжении учебного года календарь его строился по принципу понвторсредчет пят субвос.

На скрытой меловым облаком черной доске, которую он не без юмора называл серой доской ("грэйборд" вместо "блэкборд"), Пнин стал писать дату. На локтевом сгибе руки он еще ощущал тяжесть Zol. Fond Lit. Дата,

которую он написал, не имела ничего общего с сегодняшним днем в Уэйнде:ле:

26 декабря 1829 года

Пнин старательно ввинтил мелом огромную белую точку и добавил снизу:

3.03 пополудни. Санкт-Петербург.^[33]

Все это послушно списали с доски Фрэнк Лапотинг, Роуз Калиостро, Фрэнк Кэррол, Ирвинг Д. Герцен, красивая и умная Мэрилин Гонор, Джон Мид Младший, Питер Волков и Аллан Брэдбери Волш.

Пнин, брызжа беззвучным весельем, снова сел за стол: он собирался им кое-что рассказать. Эта строка в абсурдном учебнике русской грамматики — "Brozhu li ya vdol' ulits shumñih" ("Брожу ли я вдоль улиц шумных"), была на самом деле первой строкой знаменитого стихотворения. И хотя ему положено было в группе начинающих ограничиваться языковыми упражнениями (Mama, telefon! Brozhu li ya vdol' ulits shumñih. Ot Vladivostoka do Vashingtona 5000 mil'), Пнин пользовался всяким удобным случаем, чтоб вывести своих студентов на какую-нибудь литературную или историческую прогулку.

В восьми четверостишиях, написанных четырехстопником, Пушкин рассказывает о меланхолической привычке, которую он имел, где бы он ни находился и чем бы он ни был занят, — думать о смерти и внимательно вглядываться во всякий текущий день, стремясь разгадать в нем зашифрованную тайную дату некой "грядущей годовщины": день и месяц, которые будут обозначены когда-нибудь и где-нибудь на его могильном камне.

— "И где же судьба будет", тут будущее время, как говорится, не совсем совершенского вида, "посылать мне смерть", — вдохновенно декламировал Пнин, откидывая голову и переводя стихи с отважным буквализмом, — "в борьбе, в путешествии или в волнах? И примет ли соседний дол" — "Dolina", теперь мы сказали бы "dale", то есть "valley" — "мой замороженный пепел, пыль, roussière,^[20] или "хладный порошок", так, может, правильней. "И хотя это безразлично для бесчувствительного тела..."

Пнин перевел до конца, а потом, с пафосом протянув к доске кусочек мела, который он все еще сжимал в пальцах, обратил внимание студентов, с

какой точностью обозначил Пушкин день и даже минуту, когда было написано это стихотворение.

"Но, однако, — воскликнул он с торжеством, — он умирал в совсем, совсем разный день! Он умирал..." Спинка стула, на которую так мощно оперся Пнин, угрожающе скрипнула, и аудитория разрядила столь оправданную атмосферу ожидания дружным молодым смехом.

Когда-то, где-то — в Петербурге? в Праге? — один из пары музыкальных клоунов вытащил вертящийся стул из-под другого, игравшего на рояле, но тот продолжал, однако, играть, все еще сидя, хотя сиденья под ним не было, и это нисколько не отразилось на исполняемой им рапсодии. Где ж это было? Цирк Буша, Берлин! [\[34\]](#)

Пнин и не подумал выходить куда-либо из аудитории между уроками начинающей и продвинутой группы, которая уже начала собираться малопомалу. Тот кабинет, где сейчас на картотечном ящике лежал полузакутанный в зеленый пнинский шарф Zol. Fond Lit., располагался на другом этаже, в самом конце гулко-го коридора, по соседству с преподавательской уборной. До 1950 года (сейчас уже 1953-й — как быстро летит время!) у Пнина был кабинет на германском отделении, общий на двоих с Миллером, одним из молодых преподавателей, но потом Пнину был предоставлен в единоличное пользование кабинет "Р", раньше служивший кладовкой, но теперь совершенно переоборудованный. На протяжении всей весны он любовно его пнинизировал. В наследство Пнину достались два уродливых стула, пробковая доска для объявлений, банка мастики для паркета, забытая уборщиком, да весьма убогий стол из какого-то непонятного дерева. Пнин выклянчил у администрации маленький стальной ящик для картотеки с совершенно восхитительным запором. Молодой Миллер под руководством Пнина, обхватив руками, перенес пнинскую часть книжного шкафа. У старенькой миссис Маккристал, в чьем белом щитовом домике Пнин провел одну довольно невзрачную зиму (1949–1950), он купил за три доллара выцветший, некогда турецкий коврик. С помощью того же уборщика ему удалось приладить к столу точилку для карандашей — это в высшей степени приятное, в высшей степени философическое приспособление, которое со звуком тикондерогатикондерога^[35] все пожирает и пожирает приятное дерево с желтой кромкой, а под конец возвращается уже вовсе беззвучно в какой-то запредельной пустоте, как и нам всем предстоит. У него были и другие, еще более честолубивые планы — например, приобрести кресло и высокую лампу. Когда же после летних каникул, которые он провел в Вашингтоне, где давал уроки, Пнин возвратился в свой кабинет, какая-то жирная собака спала на его коврике, а вся его мебель была задвинута в темный угол кабинета, чтоб расчистить место для великолепного стола из нержавеющей стали и такого же вращающегося кресла, на котором сидел и что-то писал, улыбаясь своим мыслям, только что импортированный из Европы австрийский ученый доктор Бодо фон Фальтернфельс; что до Пнина, то для него с этого времени кабинет "Р" потерял всякую притягательность.

В полдень Пнин, как обычно, вымыл руки и голову.

В кабинете "Р" он забрал свое пальто, шарф, книгу и портфель. Доктор Фальтернфельс писал и улыбался; бутерброд его был развернут, но не окончательно; собака его сдохла. Пнин спустился по унылой лестнице и прошел через Музей скульптуры. Зал Гуманитарных наук, где, однако, приткнулись также и Орнитология с Антропологией, соединялся с кирпичным зданием Фриз Холла, где размещались столовая и профессорский клуб, посредством довольно вычурной галереи с прорезями: она карабкалась вверх по склону холма, потом вдруг круто сворачивала и брела вниз к приевшимся запахам картофельных чипсов и унылого диетпитания. В летнее время ее решетки и резные стены оживляло трепетанье цветов, но сейчас через голые прорези дул ледяной ветер, и кем-то утерянная красная варежка была подобрана и положена кем-то на пересохший носик мертвого фонтанчика у того ответвления галереи, что вело к Президентскому дому.

Президент Пур, высокий, медлительный старик, носивший темные очки, начал терять зрение несколько лет тому назад, и теперь он был почти совершенно слеп. Однако с той же регулярностью, с какой восходит солнце, его племянница и секретарь приводила его ежедневно во Фриз Холл; он шествовал с античным достоинством, продвигаясь в своем собственном персональном мраке к незримому обеденному столу, и хотя все уже давно привыкли к его трагическому явлению, по залу неизменно пробегала некая тень молчания, когда его подводили к резному креслу и он начинал шарить руками, нащупывая край стола; и странно было видеть прямо у него за спиной, на стене, в розовато-лиловом двубортном пиджаке и красноватых туфлях, его стилизованное подобие, неотрывно глядящее анилиново-красными сияющими глазами на свитки, которые вручали ему Рихард Вагнер, Достоевский и Конфуций — эту группу Олег Комаров с отделения изящных искусств вписал лет десять тому назад в старую, сделанную еще в 1938 году знаменитую стенную роспись Ланга, которая и повела вокруг столовой это объединенное шествие великих людей прошлого и уэйнделеских профессоров.

Пнин, желавший расспросить кое о чем своего соотечественника, сел рядом с ним. Этот Комаров, родом из казаков, был очень низенький человек с короткой стрижкой и ноздрями, как у черепа. Вместе со своей женой

Серафимой, жизнерадостной москвичкой, которая носила на длинной серебряной цепочке тибетский амулет, свисавший на ее мягкий обширный живот, они устраивали время от времени "русски" вечеринки с "русски" hors d'oeuvres,^[21] игрой на гитаре и в большей или меньшей степени псевдонародными песнями: на этих сборищах робких старшекурсников учили ритуалу водочного питья и прочим затхлым руссианизмам; после подобных вечеринок, встречая угрюмого Пнина на факультете, Серафима и Олег (она поднимала при этом глаза к небу, а он свои прикрывал ладонью) лепетали в благоговейном самохвальстве: "Gospodi, skol'ko mi im dayom!" ("Господи, сколько мы им даем!") — под "ними" подразумевались погрязшие в невежестве американцы. Только русский собеседник смог бы постигнуть этот сплав реакционности и советофильства, представляемый псевдоколоритной комаровской парой, для которой идеальная Россия должна была б соединять в себе Красную Армию, помазанника-монарха, колхозы, антропософию, русскую церковь и плотину гидроэлектростанции. Пнин и Олег Комаров пребывали обычно в состоянии тайной войны, но встречи между ними были неизбежны, и те их американские коллеги, которые считали Комаровых "великолепной парой" и пародировали смешного Пнина, уверены были при этом, что художник и Пнин отлично ладят между собой.

Трудно было бы, не прибегая к специальным тестам, установить, кто из них двоих, Пнин или Комаров, хуже говорил по-английски; вероятно, все же Пнин; однако, пользуясь своим старшинством, более высоким общеобразовательным уровнем, а также чуть большим стажем американского гражданства, Пнин находил возможным поправлять Комарова, который нередко уснащал свою русскую речь английскими интерполяциями, и это Комаров ненавидел еще больше, чем antikvarniy liberalism Пнина.

"Послушайте, Комаров (Poslushayte, Komarov, — не слишком-то вежливая форма обращения), — сказал Пнин. — Не могу понять, кому еще здесь могла понадобиться эта книга; ясно, что не моим студентам; а если это вы, то все равно не понимаю, зачем она могла вам понадобиться".

— Мне — нет, — сказал Комаров, взглянув на книгу. — Не заинтересован, — добавил он по-английски.

Пнин раз или два беззвучно пошевелил губами, а также подвигал нижней челюстью, но ничего не сказал и вернулся к своему салату.

Поскольку был вторник, он мог сразу же после обеда отправиться в излюбленное свое прибежище и оставаться там до самого ужина. Не существовало галереи, которая соединяла бы библиотеку Уэйндельского университета с его прочими зданиями, зато она самыми надежными и прочными узами соединена была с сердцем Пнина. Он прошел мимо огромной бронзовой фигуры первого президента университета Альфеуса Фриза, облаченного в спортивную кепку и бриджи, держащего за рога бронзовый велосипед и вечно намеревавшегося вскочить в седло, если судить по положению его левой ноги, навсегда прилепившейся к левой педали. Снег лежал на седле велосипеда, снег заполнял и нелепую корзинку, которую какие-то проказники недавно прицепили к велосипедному рулю. "Huliganī", — качая головой, скорбно посетовал Пнин — и поскользнулся слегка на плитах дорожки, которая спускалась вниз, петляя по травянистому склону среди безлистных уже вязов. Кроме толстой книги, зажатой под мышкой, он нес в другой руке свой старый, среднеевропейского вида, черный portfel', который он держал за кожаную ручку и которым он помахивал в такт, вышагивая к своим книгам, к своей келье монастырского переписчика, к раю русской учености.

Эллиптическая голубиная стая в своем настойчивом круговращенье, то вдруг воспаряя серо, то трепеща белизной, то снова отливая серым, появлялась и исчезала в бледном прозрачном небе над зданием библиотеки. Гудок поезда прозвучал вдали со степной печалью. Тощий бельчонок метнулся через солнечное пятно на снегу, туда, где тень ствола, оливково-зеленая на траве, становилась на время серовато-синей, а сам ствол, с царапучим и шустрым скрипом, возносил свои голые сучья в небо, где в третий, и в последний, раз пронесли голуби. Бельчонок, скрытый теперь в каком-то развилке, сердито стрекотал, брюзжа на хулиганов, выживших его с дерева. На черном, грязном льду, покрывавшем мощенную плитами дорожку, Пнин поскользнулся снова, судорожно выбросил вперед руку, но, едва восстановив равновесие, улыбнулся тайной улыбкой и наклонился, чтоб подобрать с земли том Zol. Fond Lit., раскрывшийся на фотографии русского луга, по которому прямо на фотокамеру брел Лев Толстой, а за его спиной — какие-то долгогривые лошади, тоже обратившие к фотографу свои невинные морды.

V boju li, v stranstvii, v volnah? В бою ли, в странствии, в волнах? Или

в уэйндельском кампусе? Осторожно чмокая вставными зубами, к которым пристал липучий прессованный творог, Пнин поднялся по скользким ступеням библиотеки.

Как многие стареющие преподаватели, Пнин давно уже перестал замечать студентов на территории кампуса, в коридорах, в библиотеке — короче, везде, кроме собственных уроков, где от него требовалось специальное к ним внимание. Вначале он очень огорчился, видя, как иные из них, опустив на скрещенные руки свои бедные головы, мгновенно засыпают за столом среди обломков учености; теперь же, если не считать какой-нибудь симпатичной девичьей шейки здесь или там, он вообще никого не замечал в читальном зале.

Миссис Тэйер дежурила за столом выдачи. Ее мать и матушка миссис Клементс были двоюродные сестры.

— Как поживаете, профессор Пнин?

— Я поживаю очень хорошо, миссис Файэр.

— Лоренс и Джоун еще не вернулись?

— Нет. Я приносил назад эту книгу, потому что я получал открытку...

— Неужели бедная Изабел в самом деле с ним разойдется?

— Я не услышал, миссис Файэр, разрешите мне спрашивать...

— Вероятно, нам придется подыскать вам другую комнату, если они ее с собой привезут.

— Миссис Файэр, разрешите мне спрашивать кое-какое. Эта открытка, которую я вчера получал — может, вы могли бы мне говорить, кто этот другой читатель?

— Сейчас проверим.

Она проверила. Другим читателем оказался Тимофей Пнин; он затребовал 18-й том в прошлую пятницу. Правда, этот же самый 18-й том был записан за этим же самым Пниным, который держал его с самого Рождества, а теперь стоял, возложив на него руки, точно судья на парадном портрете.

— Не может бывать! — вскричал Пнин. — Я потребовал в пятницу том девятнадцатый, год 1947-й, а не том восемнадцатый, год 1940-й.

— Но сами взгляните — вы написали "том 18". Так или иначе, 19-й том еще в обработке. Оставьте этот?

— Восемнадцатый, девятнадцатый, — бормотал Пнин. — Не есть много разницы! Год я ставил правильно, это есть главное! Да, я еще нуждаюсь в восемнадцатом — пошлите мне более вразумительную открытку, когда том девятнадцатый достигим.

Все еще ворча немного, он унес неуклюжий и пристыженный том в

свой излюбленный альков и уложил его там, завернув в свой шарф.

Они просто читать не умеют, эти женщины. Год был ясно обозначен.

Как всегда, он проследовал в зал периодики и там проглядел новости в последнем номере (суббота, 12 февраля — а на дворе уже был вторник, о, Беспечный Читатель!^[36]) ежедневной русскоязычной газеты, выпускаемой с 1918 года какой-то émigré группой в Чикаго. Как всегда, внимательно проглядел объявления. Доктор Попов, который тут же и был сфотографирован в новом белом халате, сулил пожилым людям новый прилив силы и радости. Музыкальная ассоциация перечисляла имеющиеся в продаже русские патефонные пластинки вроде вальса "Разбитая жизнь" и "Песенки фронтового шофера". Какой-то гоголевского типа похоронщик расхваливал свои похоронные экипажи de luxe, которые можно было также использовать для выезда на пикник. Другой гоголевский персонаж, уже в Майами, предлагал "двухкомнатную квартиру для непьющих (dlya trezviĥ), среди фруктовых деревьев и цветов", а какие-то люди из Хэммонда с грустью предлагали сдать комнату "в небольшой и тихой семье", — и тут, без особой к тому причины, читатель объявлений вдруг с пронзительной и нелепой отчетливостью увидел своих родителей, Павла Пнина и Валерию Пнину — он читает медицинский журнал, она политический обзор, оба сидят в креслах друг против друга в маленькой, ярко освещенной гостиной на Галерной улице, Санкт-Петербург, сорок лет тому назад.

Пнин внимательно ознакомился также с развитием бесконечно долгой и нудной полемики между тремя эмигрантскими фракциями. Начало ей положила фракция А, обвинившая фракцию Б в бездействии и для наглядности проиллюстрировавшая ее пословицей: "Хочет на елку влезть, да ляжки боится окарябать". Это побудило некоего Старого Оптимиста написать язвительное "Письмо к редактору", озаглавленное "О елках и о бездействии" и начинавшееся так: "Есть старая американская поговорка: "В доме повешенного не убивают двух зайцев одним выстрелом". В свежем номере газеты был напечатан *feuilleton* длиной в две тысячи слов, присланный представительной фракцией В и озаглавленный "О елках, о домах повешенного и оптимизме", Пнин прочел его с большим интересом и с чувством солидарности.

Потом он вернулся к себе в келью, к теме своего исследования.

Он задумывал написать *Petite Histoire* русской культуры, в которой отбор русских обычаев, редкостей, литературных анекдотов и тому подобного сделан был бы таким образом, что отражал бы в миниатюре *La Grande Histoire*^[22] — Великую Взаимосвязь Событий. Пнин находился еще

на блаженной стадии сбора материалов; и многие молодые люди почитали за честь и за удовольствие наблюдать, как Пнин извлекает ящик с карточками из обширной груды каталога и, точно огромный орех, уносит его в укромный уголок и там в тиши наслаждается этой умственной пищей, беззвучно шевелит губами, критически, одобрительно или озадаченно комментируя прочитанное, а то вдруг высоко поднимет свои зачаточные брови, да так и забудет их там, в вышине, на обширном лбу, где они еще долго маячат после того, как все прочие следы неудовольствия или сомнения исчезнут с его лица. Ему повезло в Уэйнделе. Когда-то, еще в девяностые годы, знаменитый библиофил и славист Джон Терстон Тодд (его бородатый бюст возвышался над питьевым фонтанчиком) посетил гостеприимную Россию, а после его смерти книги, которые он там насобирав, безропотно удалились на дальний стеллаж. В резиновых перчатках, чтоб избежать при соприкосновении с железной полкой удара электричества, Пнин добирался до этих книг и наслаждался их лицезрением: забытые журналы Ревущих Шестидесятых^[37] в переплетах под мрамор; исторические монографии вековой давности, их сонные страницы покрыты бурыми пятнами плесени; русские классики в ужасных и трогательно-жалких переплетах с камнями поэтических профилей, глядя на которые Пнин с увлажненными глазами вспоминал свое детство, когда он мог подолгу бесцельно гладить на обложке то слегка ободранный бакенбард Пушкина, то грязный нос Жуковского.

Сегодня из обширного труда Костромского^[38] (Москва, 1855 год) о русских мифах — редкая книга, выносить из библиотеки воспрещается — Пнин со вздохом, отнюдь не печальным, начал переписывать отрывок, в котором говорилось о древних языческих играх, в те времена еще бытовавших в лесах Верхней Волги, за рамками христианского обряда. Во время майских празднеств — так называемой Зеленой недели^[39], постепенно переродившейся в неделю Пятидесятницы, — крестьянские девушки сплетали венки из лютиков и ятрышника; потом, распевая старинные любовные песни, они вешали эти гирлянды и венки на приречные ивы; а в воскресенье на Троицу венки эти сбрасывали в воду, и они плыли, разворачиваясь в воде, как змеи, между тем как девушки плескались и плавали среди них с песнопеньями.

В этом месте в голове у Пнина стала возникать любопытная словесная ассоциация; он не сумел, впрочем, ухватить ее за русалочий хвост, однако сделал пометку на карточке и снова нырнул в Костромского.

Когда Пнин оторвался от книги, уже пора было идти на ужин.

Сняв очки, он потер неприкрытые усталые глаза костяшками руки, в которой зажаты были очки, и в задумчивости задержал свой кроткий взгляд на стеклах верхнего окна, где мало-помалу, проступая сквозь дымку его раздумий, стали возникать сине-фиолетовые сумерки, посеребренные отблеском сияющих ламп с потолка, и отражение длинного ряда ярких книжных корешков в паутине черных сучьев.

Прежде чем покинуть библиотеку, он решил посмотреть, как произносится interested ("заинтересован"), и обнаружил, что словарь Вебстера, во всяком случае, тот затрепанный том издания 1930 года, что лежал на столе в Зале Перелистывания, вовсе не рекомендует ставить ударение на третьем слоге, как это всегда делал Пнин. Он поискал в конце книги список опечаток, но не нашел его и, захлопывая слоноподобный лексикон, осознал вдруг, понял, ощутив при этом болезненный укол, что где-то в его толще захоронил справочную карточку, которую все время держал в руке. Теперь надо бесконечно долго искать ее между 2500 тончайшими страницами, иные из которых к тому же еще и порваны! Услышав его восклицание, обходительный мистер Кэйс, долговязый, розовощекий библиотекарь с прилизанными седыми волосами и галстуком-бабочкой, подошел к Пнину, поднял гиганта за обе крышки, перевернул его и слегка встряхнул, в результате чего словарь просыпал расческу, рождественскую открытку, пнинскую карточку и прозрачный призрак из папиросной бумаги, который с бесконечным безразличием опустился у ног Пнина и был снова водворен мистером Кэйсом на изображение Больших государственных печатей Соединенных Штатов и Территорий.

Пнин засунул карточку в карман и, совершая эту операцию, вспомнил вдруг без всякой подсказки то, чего только что никак не мог припомнить:

"...plīla i pela, pela i plīla

...плыла и пела, пела и плыла..."^[40]

Ну, конечно! Смерть Офелии! "Гамлет"! В старом добром русском переводе Андрея Кронеберга, год издания 1844-й — утеха его юности, а также юных дней его отца и деда! Здесь, как и в том отрывке из Костромского, присутствует, как мы можем убедиться, та же самая ива, те же присутствуют венки. Но где бы проверить точнее? Увы, "Gamlet" Vil'yama Shekspira не был приобретен мистером Тоддом, и его не было в Университетской библиотеке Уэйндела, а если нужда заставляет вас прибегать к английской версии того же произведения, вам никогда не найти

ту или иную прекрасную, благородную, благозвучную строку, которая на всю жизнь запомнилась по переводу Кронеберга в великолепном издании Венгерова^{41}. Печально!

На просторах печального кампуса становилось совсем темно. Над дальними холмами, что были еще печальней, под берегом облаков, темнела черепаховая глубь неба. В складке сумеречных холмов дрожали, надрывая сердце, огни Уэйнделвилла, являя, как всегда, волшебное зрелище, хотя Пнину доподлинно было известно, что при ближайшем рассмотрении городок этот не являл взору ничего, кроме вереницы кирпичных домов, бензоколонки, катка да большого магазина самообслуживания. По дороге в маленькую харчевню на Библиотечной аллее, где Пнин намеревался съесть большую порцию виргинской ветчины и выпить бутылку пива, он ощутил вдруг сильную усталость. И не только в том дело, что томина Zol. Fond стал еще тяжелее после ненужного визита в библиотеку, но и в чем-то еще таком, что Пнин прослушал сегодня вполуха, а дослушать до конца не захотел, но что беспокоило и угнетало его теперь, как порой угнетают нас задним числом, в воспоминании, совершенная нами ошибка, или невольная грубость, или угроза, которою мы предпочли пренебречь.

За второю неспешной бутылкой пива Пнин участвовал в споре с самим собой о том, что ему предпринять дальше, или, верней, служил посредником в споре между утомленным Пниным, которому что-то плохо спалось в последнее время, и ненасытным Пниным, который хотел бы, как всегда, продолжить дома чтение до той предутренней поры, когда двухчасовой товарный поезд со стоном прогрохочет в долине. В конце концов решено было, что он отправится спать сразу после посещения вечера, проводимого два раза в месяц по вторникам в Новом Зале неутомимыми супругами Кристофером и Луизой Старр: какая-нибудь довольно высоколобая музыка и необычный набор кинофильмов — вечера, которые президент Пур, в ответ на какие-то нелепые нападки, охарактеризовал в прошлом году как, "вероятно, самое вдохновляющее и вдохновенное мероприятие во всей жизни университетского сообщества".

ЗФЛ дремал теперь у него на коленях. Слева от Пнина сидели два студента-индуса. Справа — дочка профессора Гагена, довольно шалая старшекурсница с отделения драмы. Комаров, слава Богу, оказался достаточно далеко сзади, чтоб не пришлось выслушивать его комментарии, вряд ли представляющие интерес.

Первая часть программы, три допотопные короткометражки, нагнали на нашего друга скуку: эта трость, этот котелок, это белое лицо, эти черные брови дугой, эти вздрагивающие ноздри мало что говорили его сердцу. Танцевал ли несравненный комик, увешанный цветочными гирляндами, среди нимф, близ подстерегавшего его кактуса, превращался ли он в доисторического человека (гибкая трость его теперь была гибкой дубиной), ежился ли он под взглядом здорового Мак-Суэйна в разгульном ночном клубе — старомодный и безьюморный Пнин оставался равнодушен. "Клоун, — фыркал он себе под нос. — Даже Глупышкин с Максом Линдером^[42] и те были забавнее".

Во второй части программы показали впечатляющий советский документальный фильм, снятый в конце сороковых годов. Предполагалось, что в нем нет ни на грош пропаганды, а все только одно сплошное искусство, и безудержное веселье, и эйфория гордого труда. Статные, неухоженные девчата маршировали на каком-то незапамятном Весеннем Фестивале со знаменами, на которых написаны были обрывки из русского народного эпоса, вроде "Ruki proch ot Korei", "Bas les main devant la Corée",

"La paz vencera a la guerra", "Der Friede besiegt den Krief".^[23] Самолет скорой помощи преодолевал снежный хребет в Таджикистане. Киргизские актеры приезжали в шахтерский санаторий и давали там под пальмами импровизированное представление. На горном пастбище где-то в легендарной Осетии пастух докладывал по рации республиканскому министерству земледелия о рождении ягненка. Московское метро сияло всеми своими статуями и колоннами, и шесть якобы пассажиров были усажены на трех мраморных скамьях. Семья заводского рабочего проводила мирный вечер в семейном кругу, члены семьи, наряженные во все лучшее, восседали под большим шелковым абажуром в гостиной, до удушья забитой комнатными растениями. Восемь тысяч болельщиков наблюдали за футбольным матчем между "Торпедо" и "Динамо". Восемь тысяч граждан на Московском заводе электрооборудования единодушно выдвигали Сталина своим кандидатом от Сталинского избирательного округа Москвы. Новая легковая автомашинa "ЗИМ" вывозила семью заводского рабочего и еще несколько персон на загородный пикник. А потом... — Все иноязычные лозунги написаны на доморощенном иностранном и с ошибками.

— Я не должен, я не должен, это просто идиотизменно, — говорил себе Пнин, чувствуя, как — невольно и безотчетно, нелепо и унижительно — слезные железы стали неподвластно выделять свою жаркую, инфантильную влагу.

В солнечном мареве — солнечный свет вонзается туманными стрелами среди белых стволов берез, купая трепещущую листву, играя дрожащими зайчиками на коре, стекая в высокую траву, сверкая и дымясь среди призраков кистеносных черемух, чуть тронутых цветеньем, — русская чащоба принимала в свои объятия странника. Старая лесная дорога уводила в нее, две мягкие колеи с непрерывной чередой грибов и ромашек на обочине. Все еще шагая в воображение по этой дороге, путник добрался до своего анахронического жилища; он снова был юноша, бродивший по этим лесам с толстым томом под мышкой; дорога вливалась в романтическое, вольное, столь любезное сердцу сиянье огромного поля, не затронутого временем (откидывая серебристые гривы, уносились вдаль кони среди высоких цветов), и тут дремота овладела Пниным, который был теперь уже вполне уютно пристроен в своей постели, и два будильника рядом друг с другом — один поставлен на 7.30, другой на 8 — тикали, такали на ночном столике.

Комаров, наряженный в небесно-голубую рубашку, склонялся над гитарой, настраивая струны. Именины были в разгаре, и степенный Сталин

со стуком бросал свой бюллетень на выборах правительственных грободоносильщиков. В бою ли, в странствии... волна иль Уэйндел... "Вот вам благо!" — сказал доктор Бодо фон Фальтернфельс, поднимая голову от своего сочиненья.

Пнин уже было совсем с головой погрузился в волны бархатного забвенья, когда что-то страшное вдруг стряслось за пределами дома: причитая и хватаясь за голову, статуя предалась вдруг кошмарным раздорам из-за треснувшей бронзовой прялки — и тогда Пнин проснулся, а вереница огней и тенистых горбов пронеслась по оконной шторе. Хлопнула дверца, и машина умчалась, ключ отомкнул замок прозрачного, хрупкого дома, и три гулких голоса зазвучали теперь внутри; дом и щель под дверью Пнина осветились вдруг с дрожью. Это бред, лихорадка, он, наверное, чем-то болен. Испуганный, беззащитный, беззубый, облаченный в ночную сорочку, он слушал, как чемодан, топая одноного, но ходко, поднимается вверх по лестнице и пара юных ног взбегает по знакомым ступенькам, вот уже можно расслышать нетерпеливые звуки дыхания... А случилось так, что воскресший ритуал радостного возвращения после унылых летних лагерей непременно привел бы к тому, что ударом ноги Изабел распахнула бы — пнинскую — дверь, если б предостерегающий взвизг матери не остановил ее вовремя.

ГЛАВА 4

Король, его отец, в очень белой спортивной рубашке с распахнутым воротом и в очень черной спортивной куртке сидел за огромным столом, отполированная поверхность которого давала обратное отражение верхней части королевского тела, превращая его в фигурную карту. Портреты предков темнели на стенах просторной, обшитой деревянными панелями комнаты. Впрочем, комната напоминала директорский кабинет в школе Святого Варфа на Атлантическом побережье в трех тысячах миль западней воображаемого дворца. Весенний проливной дождь без усталости хлестал по французским окнам, за которыми юная зелень, таращась во все глаза, и струилась и трепетала. И казалось, ничто, кроме этой завесы дождя, не отделяет и не защищает дворец от революции, что уже семь дней бушевала в городе... Собственно, отцом Виктора был придурочный беженец-врач, которого мальчик никогда не любил и уже года два как не видел.

Король, с большей вероятностью бывший его отцом, принял решение не отречься от престола. Газеты не выходили. Восточный экспресс со всеми его случайными пассажирами застрял у платформы какой-то пригородной станции, на которой, отражаясь в лужах, стояли живописные крестьяне и глазели на занавешенные окна длинных, таинственных вагонов. Сам дворец и его сады, террасами спускавшиеся с холма, и город под дворцовым холмом, и главная городская площадь, где, несмотря на дурную погоду, уже начались казни и народные танцы, — все это находилось в сердцевине креста, чьи оконечности доходили до Триеста, Граца, Будапешта и Загреба, как в этом можно было убедиться, заглянув в "Справочный атлас мира Рэнда Макнэлли^[43]". А в самом сердце этой сердцевины сидел Король, спокойный и бледный и, в общем, очень похожий на своего сына, такого, каким этот подросток воображал себя сорокалетним. Спокойный и бледный, с чашечкой кофе в руке, сидя спиной к изумрудному — и серому — окну. Король слушал, что говорит ему гонец с лицом прикрытым маской, дородный старый аристократ в мокром плаще, сумевший пробраться из осажденной ратуши через потоки дождя и разгул мятежа во Дворец, отрезанный от всего мира.

— Абвэгэдзекция! Отречение! В этом слове треть алфавита! — саркастически заметил Король с легким иностранным акцентом. — Ответом будет "ньет". Предпочитаю неизмеримую вьечность изгнания.

Сказав так, Король, уже вдовый, взглянул на стоявшую перед ним

фотографию усопшей красавицы, на эти огромные синие глаза, этот карминный рот (фото было цветное, что не слишком по-королевски, но не важно). Ветви сирени, вдруг зацветшей до времени, неистово бились в мокрые стекла окна, как участники уличного маскарада, которых не пустили в дом. Старый гонец поклонился и пошел к двери через пустыню королевского кабинета, думая втайне о том, не разумнее ли предоставить истории идти своим ходом, а самому дернуть в Вену, где у него было кой-какое имущество... Конечно, мать Виктора еще не была на самом деле мертва; она бросила его повседневного отца, доктора Эрика Финта (теперь он в Южной Америке) и собиралась выйти замуж в Буффало за человека по фамилии Чёрч?

Виктор каждую ночь предавался этим пристойным фантазиям, пытаясь заманить сон в свою ледяную клетушку, открытую всем шумам незатаившей спальни. Как правило, он все же не доходил до критической сцены бегства, когда Король в полном одиночестве — *solus rex*^[24] (именно так составители шахматных задач обозначают королевское одиночество) — мерял шагами некий пляж на Богемском море близ Мыса Бурь^[44], куда веселый американский авантюрист Персиваль Блейк^[45] обещал прийти за ним на быстроходной моторной лодке. Конечно же, самая отсрочка этого будоражающего и успокаивающего эпизода, самое промедление, оттягивающее желанную развязку и неизменно возникавшее в решительный момент этой навязчивой фантазии, лежало в основе механизма, производившего усыпляющее действие.

Снятый в Берлине на потребу американцам итальянский фильм, в котором некий синтетический агент преследует юношу с безумным взором и в помятых шортах где-то в дебрях трущоб, развалин, а также одного или двух борделей; сценическая версия "Очного цвета", поставленная недавно в расположенной по соседству женской школе Св. Марты; анонимный рассказ в кафкианском духе из *ci-devant avant-garde*^[25] журнала, который читал им недавно в классе мистер Пеннант, меланхолический англичанин с прошлым; и наконец, последнее по порядку, но вовсе не значению — отголоски каких-то давнишних семейных разговоров о бегстве русских интеллектуалов от ленинского режима тридцать пять лет тому назад, — все это явно питало фантазии Виктора; когда-то они, видимо, очень сильно волновали его; сейчас они имели неприкрыто утилитарный характер, как простое и приятное снотворное.

Ему было четырнадцать, однако на вид ему можно было дать на года два или три больше, — и вовсе не из-за того, что был он долговяз, почти что шести футов ростом, а скорей из-за непринужденной свободы его поведения, выражения любезной отстраненности на его простом, но резко очерченном лице, а также из-за полного отсутствия неловкости или скованности, что, вовсе не исключая ни робости, ни сдержанности, придавало все же что-то солнечное его застенчивости и какую-то независимую обходительность его спокойным манерам. Под левым глазом у него было коричневое пятнышко размером почти с копейку, и это только подчеркивало бледность его щеки. Не думаю, чтобы он любил хоть кого-нибудь.

В его отношении к матери страстная детская привязанность давно уступила место нежной снисходительности, и единственное, что он позволял себе, был неслышный вздох насмешливой покорности судьбе, когда Лиза на своем беглом и безвкусном нью-йоркском жаргоне с наглыми металлически-носовыми звуками и мягкими съезжаниями в мохнатые русицизмы потчевала в его присутствии нового гостя тысячу раз им слышанными историями, которые были то сильно приукрашены, то просто выдуманы. Гораздо большее испытание было для него, когда в обществе таких же незнакомцев доктор Эрик Финт, педант, начисто лишенный чувства юмора, но убежденный в том, что его английский язык (приобретенный в германской школе) безупречно чист, выдавал какую-нибудь избитую и как бы шутливую фразу, где слово "пруд" вставлено вместо "океана", произнося ее с доверительной и лукавой миной человека, одаривающего своих слушателей бесценным шедевром сочного просторечья. Родители Виктора, будучи психотерапевтами, старались изо всех сил, разыгрывая Лая с Иокастой^{46}, однако мальчик оказался весьма посредственным маленьким Эдипом. Чтобы не осложнять модный треугольник фрейдовского романа (отец, мать, дитя), о первом Лизинем муже в семье никогда не упоминали. И только когда брачный союз Финтов стал распадаться, то есть примерно к тому времени, когда Виктор поступил в школу Св. Варфа, Лиза сообщила ему, что еще до того, как она покинула Европу, она была когда-то миссис Пнин. Она рассказала, что ее первый муж тоже перебрался в Америку — что скоро он даже повидается с Виктором; и поскольку на все, о чем сообщала Лиза (широко раскрывая при этом

сияющие синие глаза, обрамленные черными ресницами), неизменно ложился некий налет тайны и блеска, величественная фигура Тимофея Пнина, ученого и джентльмена, преподающего этот в сущности мертвый язык в знаменитом Уэйндельском университете, в милях трехстах к северо-западу от школы Св. Варфа, окуталась в восприимчивом воображении мальчика своеобразным обаянием, приобретая некое семейное сходство с теми болгарскими королями и средиземноморскими принцами, которые были всемирно прославленными знатоками бабочек или морских раковин. Поэтому он испытал приятное чувство, когда стал получать от профессора Пнина степенные и достойные письма; за первым из них, написанным на хорошем французском языке, но небрежно напечатанным, последовала художественная открытка с изображением "белки серой". Открытка была из общеобразовательной серии "Наши млекопитающие и птицы"; Пнин приобрел всю серию специально для этой переписки. Виктору приятно было узнать, что английское слово "белка" происходит от греческого слова, означающего "тенехвост"^{47}. Пнин приглашал мальчика приехать к нему в гости во время следующих каникул и извещал, что встретит его на автобусной станции в Уэйнде. "Чтоб быть узнанным, — писал он, на сей раз по-английски, — я буду появляться в темных очках и держать черный портфель с моей монограммой из серебра".

И Эрик и Лиза Финт были удручающе озабочены наследственностью, и, вместо того чтоб восторгаться художественным гением мальчика, они проявляли угрюмую озабоченность его генетической обусловленностью. Искусство и науки были весьма наглядно представлены в их родовом прошлом. Не шла ли эта страсть Виктора к краскам от Ханса Андерсена (не имеет отношения к почитываемому на ночь датчанину^{48}), который был мастером по цветному стеклу и работал в Любеке, пока не сошел с ума (и не вообразил себя кафедральным собором) после того, как его любимая дочь вышла замуж за седовласого гамбургского ювелира, автора монографии о сапфирах, приходившегося Эрику дедом с материнской стороны? А может, почти патологическая точность его карандашного и перьевого рисунка явилась побочным продуктом боголеповской приверженности науке? Ибо прадед его матери, седьмой сын деревенского священника, был не кто иной, как уникальный самородок Феофилакт Боголепов, единственным соперником которого в состязанье за титул величайшего русского математика выступал Николай Лобачевский. Как знать.

Гений — это диссидентство. В два года Виктор не калякал спиральки, желая изобразить пуговицу или пушечное отверстие, как делают миллионы малышей, почему б и тебе так не делать? Он любовно выводил абсолютно круглые и абсолютно замкнутые круги. Когда трехлетнего ребенка просят срисовать квадрат, он довольно похоже воспроизводит один угол, а дальше довольствуется тем, что завершает рисунок волнообразной или округлой линией; Виктор в свои три года не только с надменной точностью копировал намеченный для него экспериментатором (доктором Лизой Финт) далеко не идеальный квадрат, но и прибавлял рядом с копией еще один квадрат, поменьше. Он никогда не проходил через эту начальную стадию графической деятельности, когда дети рисуют Kopffüßlers (головастых человечков) или шалтай-болтаев с раскоряченными L-образными ножками и ручками, которые завершаются грабельками; он вообще не любил рисовать человеческие фигуры, и когда Папа (доктор Эрик Финт) стал настаивать, чтобы он нарисовал Маму (доктора Лизу Финт), он провел очень милую волнистую линию и сказал, что это мамина тень на новом холодильнике. В четыре года он выработал свой собственный пунктирно-точечный стиль. В пять начал изображать

предметы в перспективе — боковая стена премило укорочена, дерево слилипучено расстоянием, один предмет перекрывает другой. А в шесть Виктор уже различал то, что не дано увидеть столь многим взрослым — цвет тени, различие между оттенками тени, отброшенной апельсином, сливой или плодом авокадо.

Обоим Финтам Виктор представлялся трудным ребенком, поскольку он таковым быть отказывался. С точки зрения Финтов, всякий ребенок мужского пола должен быть одержим пылким желанием кастрировать отца и ностальгическим стремлением вернуться в утробу матери. Но в поведении Виктора не обнаруживалось никаких отклонений от нормы, он не ковырял в носу, не сосал большой палец и даже не кусал ногти. Чтоб избежать того, что он, завзятый радиофил, называл "статикой личностного родства", доктор Финт устроил так, что специальные психометрические тесты^[49] для его непрошибаемого ребенка проводили у них в Институте два пришлых специалиста, молодой доктор Стерн и его улыбчивая супруга ("Меня зовут Луи, а это Кристина"). Однако результаты были то устрашающие, то вообще нулевые: семилетний субъект показал на шкале так называемого "годуновского рисовально-анималистического теста" сенсационный уровень, достигаемый обычно семнадцатилетними, зато подвергнутый "Взрослому тесту среднего ясновидения" живо сполз до умственного уровня двухлетнего ребенка. А ведь сколько старания, сколько мастерства и выдумки потрачено было на разработку всех этих чудодейственных методик! И разве не позор, что иные из пациентов не желают пойти навстречу медикам! Существует, например, "Кент-Розановский тест абсолютно вольных ассоциаций", при котором маленькому Джо или Джейн предлагают отреагировать на словостимулятор, такое, как, например, стол, утка, музыка, хвороба, утроба, низко, глубоко, длинный, счастье, плод, мать, гриб. Еще есть "Бьеврская игра в интересы-отношения" (чистое спасение в дождливый вечер), когда маленького Сэмика или Руби просят поставить галочку перед всем, что у него или у нее вызывает вроде бы как страх, например, умирать, падать, сны, циклоны, похороны, папаша, ночь, операция, спальная, ванная, слияние и тому подобное; существует также "Абстрактный тест Августы Ангст", в котором малышу (das Kleine) предлагают выразить целый ряд понятий ("стоны", "удовольствие", "темнота") непрерывными линиями. И есть еще, конечно, "Игра в куклы", когда Патрику и Патриции дают совершенно одинаковых резиновых голышей, а также хитроумную маленькую штучку из глины, которую Пат должен прицепить к одной из кукол, прежде чем он или она начнут играть, о, что за прелестный

кукольный дом со множеством комнат и множеством всяких странных миниатюрных предметов, в том числе ночной горшочек не больше желудевой чашечки, и аптечка, и кочерга, и даже пара малюсеньких-малюсеньких резиновых перчаточек на кухне, и ты можешь шалить сколько хочешь, и даже можешь делать с кукольным Папой все, что тебе вздумается, если полагаешь, что он бьет куклу-Маму в своей спальне, когда у них там гаснет свет. Но нехороший Виктор не хотел играть с Лу и Тиной, не обращал внимания на кукол, и вычеркивал все перечисленные слова подряд (а это уж против правил), и делал рисунки, в которых не было никакого подтекстового смысла.

И ничего такого, что представляло бы хоть малейший интерес для психотерапевта, не вынудили его опознать в этих прелестных, ну, просто прелестных "Чернильных кляксах Роршаха", в которых дети видели, или должны были видеть, самые разнообразные вещи — морские пейзажи, трельяжи, миражи, червей слабоумия, невротические древесные стволы, эротические галоши^{50}, а также зонтики и винтики. И ни один из случайных набросков Виктора не представлял собой так называемой "мандалы"^{51} — термин, который, как думают, обозначает (на санскрите) магический круг и употребляется доктором Юнгом и прочими в применении к любым каракулям, имеющим более или менее распластанную четырехстороннюю форму, как, к примеру, разрезанный пополам плод манго, или крест, или колесо, при помощи которого человеческое эго расщепляется, как Морфос^{52}, или, еще точнее, как молекула углерода с ее четырьмя валентностями — главного химического компонента мозга, — автоматически увеличенная и отраженная на бумаге.

Отчет доктора Стерна утверждал, что "психическая ценность Воображаемых Картин и Словесных Ассоциаций Виктора совершенно затемнена по причине художественных склонностей мальчика". После этого маленькому пациенту Финтов, которого мучили бессонница и отсутствие аппетита, разрешили читать в постели после полуночи и обходиться по утрам без овсянки.

Раздумывая над тем, какое образование ей следует дать своему мальчику, Лиза буквально разрывалась между двумя либидо: вверить его последним достижениям Современной Детской Психотерапии или найти в рамках американского религиозного воспитания нечто по возможности приближенное к мелодичным и врачующим радостям православной церкви, этого снисходительного вероисповедания, чьи требования к вашей совести столь невелики в сравнении с тем утешением, которое оно предлагает.

Маленький Виктор посещал сперва какой-то прогрессивный детсад в Нью-Джерси, а позднее, по совету русских друзей, ходил там же в школу. Школой руководил епископальный священник, который оказался мудрым и талантливым воспитателем, он полон был сочувствия к одаренным детям, какими бы странными или буйными они ни были; Виктор был и правда несколько странный, но при этом очень спокойный мальчик. Двенадцати лет он пошел в школу Св. Варфоломея.

Внешне школа Св. Варфа являла собой самонадеянного вида краснокирпичный массив, воздвигнутый в 1869 году на окраине Крэнтона, штат Массачусетс. Его главное здание образовывало три стороны широкого четырехугольника, четвертую составлял крытый переход с аркадами. Надвратное здание с остроконечной крышей, совершенно скрытое с одной стороны глянцевитым американским плющом, увенчано было несколько тяжеловатым для подобного строения каменным кельтским крестом. Плющ зыбился под ветром, точно шкура на спине у лошади. Согласно пристрастному мнению, цвет красного кирпича с годами становится только гуще и благороднее; кирпичи старого доброго Сейнт-Варфа с годами становились только грязней. Под крестом, над казавшейся гулкою, а на деле вовсе безответной входной аркой вырезано было некое подобие кинжала, призванного олицетворять собой тот мясницкий нож, который с немым укором держит в руке (на картинке в "Венском требнике"^[53]) Св. Варфоломей^[54], один из апостолов — тот самый, с которого живьем была содрана кожа, после чего он был выставлен на съедение мухам летом 65 года от Рождества Христова в Альбанополисе, теперь это Дербент на юго-востоке России. Гроб его, брошенный злобным царем в Каспийское море, спокойно проплыл весь путь до Липарских островов, что невдалеке от сицилийского берега, — вероятно, это все же легенда, поскольку

Каспийское море сугубо внутренний водоем и был таковым еще со времен плейстоцена. Под этим изображением геральдического оружия — больше всего напоминавшего морковку хвостом вверх — надпись черным готическим шрифтом гласила: "Sursum".^[26] Две смиренные английские овчарки, принадлежащие одному из преподавателей и нежно привязанные друг к другу, дремали обычно на лужайке перед воротами в своей персональной Аркадии.

Лизу во время ее первого визита все здесь приводило в восхищение, от площадок для специфической английской игры в мяч и часовни до гипсовых слепков в коридорах и фотографий кафедральных соборов на классных стенах. Трем младшим классам были отведены спальные, разделенные на альковы, каждый из которых имел окно; в конце спальных помещалась комната учителя. Посетители не могли не восхититься и великолепным спортивным залом. Весьма внушительными были дубовые скамьи, а также балки под крышей часовни романского стиля, полвека тому назад принесенной в дар школе Юлиусом Шонбергом, фабрикантом шерсти, братом всемирно известного египтолога Сэмюэла Шонберга, который погиб во время мессинского землетрясения^[55]. В школе было двадцать пять преподавателей, а также директор, преподобный Арчибалд Хоппер, который в теплые дни облачался в элегантное серое одеяние и выполнял свои обязанности — в радостном неведении интриги, которая вот-вот должна была привести к его смещению.

Хотя глаз и был для Виктора главным органом чувств, бесцветный Сейнт-Варф отпечатался в его сознании скорее посредством своих звуков и запахов. Там вечно стоял затхлый, унылый запах лакированного дерева в спальнях, и были ночные звуки в альковах — оглушительные желудочные выстрелы, а также особого рода скрипенье кроватных пружин, еще и нарочно усиленное из озорства, — и звонок в вестибюле, в гулкой пустоте головной боли, в 6.45 утра. И был одуряющий дух идолопоклонства и благовоний, исходивший от кадилъницы, свисавшей на цепях и на тенях цепей с ребристого потолка часовни; и был густой голос преподобного Хоппера, преспокойно сочетавший в себе утонченность с вульгарностью; и был 166-й гимн, "Солнце моей души", который каждый из новичков должен был заучивать наизусть; и стояла с незапамятных времен в спортивной раздевалке эта пахнущая потом корзина на колесах, хранившая общий запах спортивных суспензориов — мерзкий серый клубок, из которого каждому приходилось выпутывать ремешок, чтобы надеть его на себя перед спортивной игрой, — и как пронзительны и печальны казались отсюда крики, взлетающие на каждом из четырех спортивных полей!

При умственном коэффициенте, равном ста восьмидесяти, и среднем — равном девяноста, Виктор без труда выдвинулся на первое место среди тридцати шести учеников своего класса и был, по существу, одним из трех лучших учеников в школе. Он не слишком-то уважал большинство здешних учителей, но почитал Лейка, невероятно тучного человека с косматыми бровями, волосатыми руками и не сходящим с его лица выражением угрюмого замешательства, в которое приводили его эти спортивные, розовощекие парни (Виктор не имел ни первого, ни второго из этих качеств). Лейк восседал, как Будда, в непостижимо опрятной студии, напоминавшей скорее приемную в картинной галерее, чем мастерскую художника. Ничто не украшало ее бледносерых стен, кроме двух картин в одинаковых рамках: копий фотографического шедевра Гертруды Кейзебир "Мать и дитя"^[56] (1897), на котором задумчивый, ангельский ребенок устремлял свой взгляд куда-то вверх, вдаль (куда?); и в таких же тонах выдержанной репродукции головы Христа (с Рембрандтовой картины "Паломники из Эммауса"^[57]), у которого было то же, хотя и чуть менее неземное, выражение глаз и рта.

Лейк родился в Огайо, учился в Париже и в Риме, преподавал в

Эквадоре и в Японии. Он был признанный знаток искусства, и для всех оставалось загадкой, почему уже на протяжении десяти зим он предпочитает хоронить себя в Св. Варфе. Лейку, наделенному угрюмым нравом гения, не доставало оригинальности, и он это признавал; собственные его картины всегда казались изумительно умными имитациями, хотя никогда нельзя было сказать точно, чьей манере он подражает. Его глубокое знание бесчисленных техник письма, его пренебрежение к "школам" и "направлениям", его омерзение к шарлатанам, его убеждение в том, что нет никакой разницы между благовоспитанной акварелью прошлого и, скажем, сегодняшним расхожим неопластицизмом или банальным нон-объективизмом^{58}, что важно только наличие индивидуального таланта, — все это делало из него довольно необычного преподавателя. В Сейнт-Варфе были не особенно довольны ни методами Лейка, ни их результатами, однако его держали в школе, потому что считалось модным иметь у себя в штате хоть одного знаменитого чудака. Среди многих увлекательных идей, которые проповедовал Лейк, была мысль о том, что солнечный спектр является не замкнутым кругом, а спиралью цветов и оттенков — от кадмиево-красного и оранжевого через стронциевожелтый и райский бледно-зеленый к кобальтово-синему и фиолетовому, который в этой точке хоровода вовсе не переходит снова с постепенностью в красный, но восходит к новой спирали, начинающейся с какого-то подобия бледно-лилово-серого, и дальше переходит в градацию зольно-пепельных Золушкиных оттенков, превосходящих возможности человеческого восприятия. Он учил, что не существует на самом деле ни "школы оп-арта", ни "школы шлеп-парта", ни "школы гоп-арта", ни "школы писсу-арта". И что творение искусства, созданное при помощи веревочки, марок и левацкой газеты с голубиным пометом, имеет в основе своей набор утомительных банальностей. И что нет ничего более пошлого и буржуазного, чем паранойя. Что Дали на самом деле брат-близнец Нормана Рокуэла, похищенный в младенческом возрасте цыганами^{59}. Что Ван Гог художник второразрядный, а Пикассо художник высочайшего класса, несмотря на свои коммерческие слабости; и что если Дега смог обессмертить французскую коляску *calèche*^{60}, то почему Виктор Финт не может сделать того же с автомобилем?

Один из способов сделать это — пронизать автомобиль окружающим пейзажем. Черная полированная легковушка представляет собой отличный сюжет, особенно если она запаркована на скрещенье обсаженной деревьями улицы и тяжеловатых весенних небес, где вздуто-серые облака и

амебообразные голубые блямбы кажутся куда более вещественными, чем скрытные вязы и уклончивая мостовая. Рассеки теперь корпус машины на кривые плоскости и изгибы; потом соедини их при помощи отражений. Они будут разными в каждой части машины: крыша представит перевернутые деревья, чьи неясные ветви прорастают, как корни, в блеклую фотографию неба, и китообразные здания проплывают меж ними — архитектурное послесловье; одна сторона капота облицована будет полосой густого небесного кобальта; самый тонкий узор черных сучьев отражен будет в заднем стекле; а на удивление пустынный вид, где будут растянутый горизонт, одинокое дерево здесь, одинокое здание там, — протянется вдоль бампера. Этот процесс мимикрии и интеграции Лейк называл оживлением, "натурализацией" изготовленных человеком вещей. Отыскав на какой-нибудь улице Крэнтона подходящий образчик машины, Виктор начинал бродить вокруг нее. Внезапная вспышка солнца, еще полуприкрытого, но все же ослепительного, приходила ему на помощь. Для той покражи, которую он замыслил, и мечтать нельзя было о лучшем сообщнике. В никелированных частях машины, в стеклах фар, оправленных солнцем, он мог видеть и улицу и себя, и зрелище было подобно крошечному микрокосму комнаты (где и человечки видны со спины) в том очень странном и совершенно магическом выпуклом зеркале, что полтысячи лет назад и Ван-Эйк, и Петрус Кристус, и Мемлинг помещали в своих столь подробно прописанных интерьерах^[61], где-нибудь за спиной сердитого коммерсанта или домашней Мадонны.

В последнем выпуске школьного журнала Виктор напечатал стихотворение о художниках, подписав его *nom de guerre*^[27] Муане и снабдив девизом: "Дурных красных следует избегать; даже тщательно приготовленные, они и тогда остаются дурными" (это была цитата из старинного руководства по живописной технике, однако она пахла политическим афоризмом). Стихотворение начиналось так:

Леонардо! Что за хвори
в смеси краппа со свинцом:
Губы Моны Лизы спорят
в новой бледности с лицом.

Он мечтал сам смягчать и усиливать свои краски, как делали Старые Мастера — при помощи меда, сока фиг, макового масла и слизи розовых улиток. Он любил акварели и масло, но опасался слишком чувствительной

пастели и грубо-темпераментной темперы. Он изучал растворители красок с терпеливостью и тщанием ненасытного ребенка — одного из тех художественных подмастерьев (здесь уже идут мечтания Лейка!), мальчишек с коротко подстриженными волосами и ясными глазами, которые годами толкли краски в мастерской какого-нибудь великого итальянского тенеписца, в мире янтарей и райских глазурей. Восьми лет от роду он познал уже чувственные радости прозрачной акварели. Что ему было до того, что нежное къяроскуро, дитя подернутых завесою светотеней и прозрачных полутонов, давно упокоилось за тюремной решеткой абстракции, в богадельне мерзостного примитивизма? Он по очереди ставил модели — яблоко, карандаш, шахматную пешку и гребешок — за стаканом воды и прилежно вглядывался сквозь него в каждый из предметов: красное яблоко превращалось в ярко прочерченную красную полосу, ограниченную ровным горизонтом, полстакана Красного моря, Счастливая Аравия, Arabia Felix. Коротенький карандаш, если его держать наклонно, извивался, как стилизованная змея, однако поставленный вертикально становился чудовищно толст, почти что пирамидален. Черная пешка, если водить ею взад и вперед, раздваивалась, превращаясь в чету черных муравьев. Гребешок, поставленный на попа, точно проникал в стакан, заполняя его живописной полосатой жидкостью, неким зебровым коктейлем.

Накануне того дня, когда к нему должен был приехать Виктор, Пнин зашел в спортивный магазин на Главной улице Уэйндела и попросил футбольный мяч. Хотя для мячей был не сезон, мяч ему все же нашли.

— Но, но, — сказал Пнин. — Нет! Я не хочу яйцо или, к примеру, торпеду. Я желаю простой футбольный мяч. Круглый!

При помощи ладоней и запястий он изобразил очертания портативного земного шара. Это был тот самый жест, к которому он обычно прибегал на занятиях, говоря о "гармонической целостности" Пушкина.

Продавец поднял палец и без слов принес ему мяч для "сокера"^{62}.

— Да, это я буду покупать, — сказал Пнин с удовольствием и с достоинством.

Неся в руках свою покупку в коричневой бумаге, заклеенной клейкой лентой, он вошел в книжную лавку и попросил дать ему "Мартина Идена".

— Иден, Иден, Иден, — быстренько повторяла высокая темноволосая продавщица, потирая лоб. — Пойдите, вам про английского политика?^{63} Так?

— Мне нужно, — сказал Пнин, — знаменитое произведение знаменитого американского писателя Джека Лондона.

— Лондон, Лондон, Лондон, — повторяла женщина, сжимая себе виски.

На помощь ей, с трубкой в руке, пришел ее муж мистер Твид, который пописывал стихи на злобу дня. Поискав немного, он извлек из пыльных глубин своей не слишком процветающей лавки какое-то старое издание "Сына Волка"^{64}.

— Боюсь, у нас больше ничего нет этого автора, — сказал он.

— Странность! — сказал Пнин. — Превратности славы! В России, я помню, все — и маленькие дети, и полнозрелые люди, и врачи, и адвокаты, — все читали его и перечитывали. Это не есть его лучшая книга, но о'кей, о'кей, я буду ее брать.

Вернувшись к себе, в дом, где он снимал в тот год комнату, профессор Пнин выложил мяч и книгу на стол в гостевой комнате на втором этаже. Откинув голову, он оглядел подарки. Мяч в бесформенной обертке выглядел весьма неприглядно; Пнин его раздел. Теперь мяч щеголял красивою кожей. Комната была опрятной и уютной. Школьнику должна была понравиться эта картина, на которой снежком сбивают цилиндр с

головы учителя. Кровать была только что застелена уборщицей; домохозяин, старый Билл Шепард, поднялся с первого этажа и торжественно ввинтил новую лампочку в настольную лампу. Теплый влажный ветер врвался в открытое окно, и слышен был шум полноводного ручья, протекавшего за домом. Собирался дождь. Пнин закрыл окно.

В собственной своей комнате, здесь же, на втором этаже, он нашел записку. Лаконичная телеграмма от Виктора, переданная по телефону; в ней говорилось, что он опоздает ровно на сутки.

Виктор и пять других мальчиков были задержаны на драгоценный день пасхальных каникул за то, что курили сигары на чердаке. Виктор, который предрасположен был к тошноте и, вообще, многих запахов не выносил (все это он не без удовольствия скрыл от Финтов), на самом деле не принимал участия в куренье, разве что затынулся, скривившись, раз или два; и все же, верный законам дружбы, он несколько раз сопровождал на запретный чердак своих лучших друзей, отважных сорванцов Тони Брэйда-младшего и Ланса Бока^[65]. На чердак можно было проникнуть через камеру хранения, а потом по железной лестнице, которая выходила на перекладину под самой крышей. Отсюда удивительный, непостижимо хрупкий скелет всего здания становился не только виден, но даже осязаем, со всеми его балками, дощатыми настилами, лабиринтом перегородок, слоеных теней и ломкой дранки, через которую нога вдруг проваливалась в шорох штукатурки, падающей с невидимого потолка. Лабиринт завершался крошечной площадкой в нише, скрытой скатами, под самым завершением остроконечной крыши, где навалена была пестрая куча старых комиксов, присыпанных свежим сигарным пеплом. Пепел был обнаружен; мальчики во всем сознались. Тони Брэйду, внуку знаменитого некогда директора Сейнт-Варфа, позволено было уехать сразу — по семейным обстоятельствам: любящий кузен хотел повидать его перед отплытием в Европу. Следуя голосу благоразумия, Тони попросил, чтоб его задержали вместе с другими нарушителями. Во времена Виктора директором, как я уже упоминал, был преподобный мистер Хоппер, темноволосое, румяное и любезное ничтожество, вызывавшее, однако, восхищение у бостонских матрон. Когда Виктор и его преступные собраты сидели в тот вечер за ужином в обществе всего хопперовского семейства, за столом по разным поводам обронены были прозрачные намеки, исходившие по большей части от миссис Хоппер, сладкогласой англичанки, чья родная тетушка была замужем за английским графом; мол, преподобный может смягчиться, и тогда всех шестерых, пожалуй, возьмут в этот прощальный вечер в кино, вместо того чтоб отправлять их в постель пораньше. И после ужина, добродушно подмигнув мальчикам, миссис Хоппер отправила их вслед преподобному, который быстро шагнул к холлу.

Старомодные попечители школы почитали за лучшее простить Хопперу порку, которой раз или два за свою краткую и ничем не

выдающуюся карьеру он подверг особо важных преступников; но ни один из мальчиков не простил подлой усмешечки, которая скривила красные губы директора, когда он остановился на пути в холл, чтоб захватить аккуратно сложенное квадратиком одеяние — свою рясу и стихарь; микроавтобус ждал их у дверей, и, "добив последний гвоздь в наказание", как выражались мальчики, вероломный пастырь повез их за двенадцать километров в Радберн, чтоб там, в холодной кирпичной церкви в присутствии немногочисленной паствы, попотчевать их своей проповедью.

Рассуждая теоретически, чтоб самым простым путем попасть из Кронтона в Уэйндел, надо доехать на такси до Фрэммингхэма, оттуда на скором поезде до Олбэни, а потом еще некоторое расстояние преодолеть в северо-восточном направлении на местном поезде; на деле же самый простой путь был одновременно и наименее практичным. То ли между этими двумя железными дорогами существовала какая-то древняя закаятая вражда, то ли обе они благородно объединились, чтоб уступить шанс на победу другим видам транспорта, а только факт остается фактом: как бы вы ни манипулировали расписаниями поездов, лучшее, на что вы могли надеяться, это на трехчасовое ожидание поезда в Олбэни.

В 11 часов утра из Олбэни уходил автобус, который прибывал в Уэйндел около трех пополудни, однако, для того чтоб попасть на него, нужно было выезжать из Фрэммингхэма утренним поездом 6.31; Виктор понимал, что так рано ему не встать; он сел чуть позже в поезд, который шел намного медленней, и это позволило ему добраться в Олбэни к последнему автобусу, который доставил его в Уэйндел в половине девятого вечера.

Весь день шел дождь. Дождь еще шел, когда автобус прибыл на конечную остановку — в Уэйндел. Из-за своей природной мечтательности и мягкой рассеянности Виктор в любой очереди всегда оказывался последним. Он давно уже привык к этой своей задаче, как привыкают к слабому зрению или хромоте. Чуть сутулясь из-за высокого роста, он без всякого нетерпения следовал за чередой пассажиров, выходивших из автобуса на сверкающий асфальт: две комковатые старушки в полупрозрачных плащах, похожие на картофелины в целлофановой обертке; маленький мальчик лет семи или восьми, подстриженный ежиком, с ямочкой на хрупком затылке; многоугольный робкий пожилой калека, который, отклонив все предложения о помощи, вываливался наружу по частям; три розовоколенные уэйндельские студентки в шортах; изнуренная мать маленького мальчика; еще несколько пассажиров; а потом — Виктор, с саквояжем в руке и двумя журналами под мышкой.

Под аркой автостанции совершенно лысый человек с коричневатой кожей, в темных очках и с черным портфелем склонялся с дружелюбными расспросами над тонкошеим маленьким мальчиком, который отрицательно качал головой и указывал на мать, ожидавшую, пока ее багаж появится на

свет из брюха автобуса. Виктор и застенчиво и весело вмешался в это *qui pro quo*.^[28] Коричневоголовый джентльмен снял очки и, разгибая себя, взглянул выше, выше, еще выше — на высокого, высокого, высокого Виктора, на его синие глаза и рыжевато-каштановые волосы. Сильно развитые челюстные мышцы на лице Пнина напряглись и округлили его загорелые щеки; его лоб, нос и даже его большие прекрасные уши приняли участие в улыбке. В общем, это была в высшей степени приятная встреча.

Пнин предложил оставить багаж на станции и пройти пешком один квартал — если только Виктора не пугает дождь (дождь лил как из ведра, и асфальт во мраке блестел под большими, шумными деревьями, точно горное озеро). Наверно, мальчику доставит удовольствие, решил Пнин, поужинать в столь поздний час в закусочной.

— Ты прибывал хорошо? Не имел неблагоприятных приключений?

— Нет, сэр.

— Ты очень голодный?

— Нет, сэр. Не особенно.

— Меня зовут Тимофей, — сказал Пнин, когда они устроились поудобней за приоконным столиком закусочной, в старом, обшарпанном вагоне, снятом с колес. — Второй слог произносится, как "muff", ударение на последнем слоге, "эй" произносится, как в английском слове "prey", только немножко протяжнее. "Тимофей Павлович Пнин", что означает "Тимоти, сын Пола". Отчество имеет свое ударение на первом слоге, а дальше все смайзэн — Тимофей Паалч. Я долгое время обсуждал с собою вопрос — давай все же вытрем эти ножи и вилки — и заключил, что ты должен называть меня просто мистер Тим или даже еще короче, Тим, как это делают мои исключительно симпатические коллеги. Что ты желаешь съесть? Телячью котлету? О'кей, я тоже буду съедать телячью котлету — это, естественно, уступка Америке, моей новой стране, замечательной Америке, которая иногда удивляет меня, но всегда возбуждает уважение. Вначале я был сильно обескуражен...

Вначале Пнин был сильно обескуражен той легкостью, с которой в Америке переходят на "ты" и зовут сразу по имени; на первой же вечеринке, где, начав с капельки виски под ледяным айсбергом, кончают полстаканом виски с капелькой воды из-под крана, ждут, что ты теперь будешь называть седовласого незнакомца "Джимом", а уж он тебя до конца твоих дней будет звать "Тимом". И если ты, забывшись, называл его на следующее утро профессор Эверет (под этим именем ты его знал), это было (для него) ужасным оскорблением. Перебирая в памяти своих русских друзей, разбросанных по Европе и Соединенным Штатам, Тимофей Паалч

мог без труда насчитать по меньшей мере шестьдесят милых для него людей, с которыми он был близко знаком с самого, скажем, 1920 года и которых он никогда не называл иначе как Вадим Вадимыч, Иван Христофорович или, соответственно, Самуил Израилевич, и которые со столь же горячей симпатией звали его по имени и отчеству, сильно пожимая ему руку при встрече: "А, Тимофей Палч! Nu kak? (Ну как?) A vi, baten'ka, zdrowo postareli! (А вы, батенька, здорово постарели!)"

Пнин продолжал говорить. То, как он говорит, не слишком удивляло Виктора, который много раз слышал, как русские говорят по-английски, и его нисколько не смущал тот факт, что Пнин произносил слово "family" (семья) так, что первый его слог звучал, как французское слово "femme" (женщина).

— Я говорю французскому с гораздо большей легкостью, чем английскому, — сказал Пнин, — но вы — vous comprenez le français? Bien? Assez bien? Un peu?^[29]

— Très un peu,^[30] — сказал Виктор.

— Сожалеительно, но ничего не поделать. Теперь я буду говорить с вами про спорт. Первое описание бокса в русской литературе мы находим в поэме Михаила Лермонтова^[66], родился в 1814-м, убит в 1841-м — легко запоминать. Первое описание тенниса, с другой стороны, можно находить в "Анне Карениной"^[67], романе Толстого, и оно соотносится к 1875 году. В молодости в один день, в русской деревне на широте Лабрадора, ракета была дана мне, чтобы играть с семьей востоковеда Готовцева, вероятно, вы слышали. Это был, я вспоминаю, великолепный летний день, и мы играли, играли, играли, пока все двенадцать мячей не были утрачены. Вы также будете вспомнить прошлое с интересом, когда старый.

— Другая игра, — продолжал Пнин, щедро насыпая себе сахар в кофе, — была, естественно, kroket. Я был чемпионом kroket. Однако любимым национальным развлечением были так называемые "gorodki", что означает "маленькие города". Вспоминается местечко в саду и замечательная атмосфера молодости: я был силен, я носил вышитую русскую рубаху, никто не играет теперь в такие здоровые игры.

Он покончил с котлетой и продолжал развивать свою тему.

— Начерчивается, — сказал Пнин, — большой квадрат на земле, туда помещаются, как колонны, цилиндрические куски дерева, а потом с какого-то расстояния в них бросается толстая палка, очень усиленно, как бумеранг, с широким, широким разворачиванием руки — простите, — к счастью, это был сахар, а не соль.

— Я все еще слышу, — сказал Пнин, поднимая с полу сахарницу и слегка покачивая головой, точно удивляясь цепкости своей памяти, — я все еще слышу это trakh! этот треск, когда ударяешь по деревяшкам и они подскакивают в воздух. Вы не будете кончать мясо? Вам оно не понравится?

— Мясо отличное, — сказал Виктор, — но я не очень голоден.

— О, вы должны поедать больше, намного больше, если вы хотите быть футболистингом.

— По совести, мне не очень нравится футбол. Честно говоря, я его ненавижу. И вообще, я не очень-то силен в играх.

— Вы не есть любитель футбола? — спросил Пнин, и выражение отчаянья проступило на его большом, выразительном лице. Он сжал губы трубочкой. Потом открыл рот — но ничего не сказал. Молча ел свое сливочно-ванильное мороженое, в котором не было ванили и которое приготовлено было без сливок.

— А теперь мы будем брать ваш багаж и такси, — сказал Пнин.

Когда они добрались до Шепард-Хауса, Пнин ввел Виктора в гостиную и торопливо представил его своему домохозяину, старому Биллу Шепарду, бывшему надсмотрщику университетской территории (который был глух как пень и носил в ухе белую пуговку), а также брату его Бобу Шепарду, который недавно перебрался из Буффало, чтоб поселиться с братом, у которого умерла жена. На минутку оставив с ними Виктора, Пнин поспешно загромыхал на верхний этаж. Дом представлял собой весьма чувствительную конструкцию, и все предметы, находившиеся в нижней гостиной, каждый по-своему, отзывались вибрацией на мощные шаги на верхней площадке, а также на резкий стук опущенной рамы в гостевой комнате.

— А эта вот картина, — говорил глухой Шепард, назидательно тыча пальцем в большую грязную акварель на стене, — на ней представлена ферма, где пятьдесят лет тому назад мой брат и я проводили каждое лето. Рисовала мать моего школьного товарища Грейс Уэлс: ее сыну Чарли Уэлсу принадлежит отель в Уэйнделвилле — уверен, что доктор Нин с ним знаком, — очень, очень хороший человек. Моя покойная жена тоже была художница. Я вам сейчас покажу некоторые из ее работ. Ну, а вон то дерево, вон там, за тем сараем — его едва-едва видно...

На лестнице раздался ужасающий треск и грохот: это Пнин поскользнулся, не дойдя до низу.

"Весной 1905 года, — сказал мистер Шепард, тыча указательным пальцем в картину, — под этим вот тополем..."

Он заметил, что его брат и Виктор выбежали из комнаты и бросились к лестнице. Бедный Пнин проехал на спине несколько ступенек. Некоторое время он лежал неподвижно, переводя взгляд с одного предмета на другой. Ему помогли встать. Кости были целы.

Пнин улыбнулся и сказал: "Это напоминает замечательный рассказ Толстого — вы должны однажды прочитать, Виктор, — про Ивана Ильича Головина, который упал и заполучил в последствии того почку рака^[68]. Теперь Виктор будет следовать со мной наверх".

Виктор последовал, сжимая в руке саквояж. На площадке была репродукция "La Berceuse"^[31] Ван Гога, и Виктор, проходя, иронически кивнул этой знакомой в знак приветствия. Гостевую комнату заполнял шум дождя, падавшего на благоуханные ветви в обрамленной черноте распахнутого окна. На столе лежали завернутая книга и десятидолларовая бумажка. Виктор просиял улыбкой и поклонился своему резковатому, но доброму хозяину. "Разверните", — сказал Пнин.

Виктор повиновался с вежливым энтузиазмом. Потом он присел на краешек постели — его темно-рыжие волосы свисали блестящими прядями на правый висок, полосатый галстук болтался, выбившись из-под серого костюма, круглые, обтянутые серой фланелью колени раздвинуты — и с жаром раскрыл книгу. Он собирался ее похвалить — во-первых, потому, что это был подарок, а во-вторых, потому, что это, как он думал, перевод с родного языка Пнина. Ему вспомнилось, что в Психотерапевтическом институте был некий доктор Яков Лондон из России. Открыв книгу, он, весьма неудачно, наткнулся на то место, где появляется Заринка, дочь индейского вождя с Юкона, которую Виктор по беспечности принял за русскую девушку. "Ее большие черные глаза со страхом и протестом остановились на соплеменниках. И так велико было ее напряжение, что она забывала дышать..."

"Думаю, что мне это понравится, — вежливо сказал Виктор. — Прошлым летом я читал "Преступление и..." — Юный зевек растянул его отважно улыбающийся рот. С состраданьем, с симпатией, с болью сердечной смотрел Пнин на Лизу, зевающую после одной из тех долгих счастливых вечеринок у Арбениных или Полянских в Париже — пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет тому назад.

"Больше никакого чтения на сегодня, — сказал Пнин. — Я знаю, что это увлекательная книга, но ты будешь ее читать и читать завтра. Желаю тебе спокойной ночи. Ванная напротив через площадку".

Он за руку простился с Виктором и отправился в свою комнату.

Дождь все шел. Все огни в доме Шепардов были погашены. Ручей в овраге за садом, в обычную пору лишь дрожащая струйка, стал этой ночью ревущим потоком, который перекачивался через самого себя в жадном повиновении силе тяготенья и нес через заросли бука да елей прошлогодние листья, голые сучья, а также новенький, так никому и не сгодившийся футбольный мяч, что лишь недавно скатился в воду с покатою лужайки — после того как Пнин от него отделался при помощи дефенестрации^[69]. Сам Пнин, несмотря на нытье в спине, наконец уснул, и в одном из тех снов, что и через треть века после бегства от большевиков все еще преследуют русских изгнанников, увидел, что он, укрытый фантастическим плащом, бежит, спасая свою жизнь, через чернильные заводи — под луной, скрытой облаками, — прочь из какого-то химерического дворца. Потом он ходил взад и вперед по пустынной прибрежной полосе вместе с покойным другом Ильей Исидоровичем Полянским, ожидая какого-то загадочного избавителя, который из-за безнадёжного моря должен был прийти за ними в тархтящей моторной лодке.

Братья Шепард лежали без сна на спаренных супружеских кроватях и на матрасах "Отдых красавицы", младший слушал в темноте шум дождя и думал о том, не лучше ли им все же продать этот дом с его такой шумной крышей и мокрым садом; старший думал о безмолвии, о зеленом сыром кладбище, о старой ферме, о тополе, в который много лет назад ударила молния, убив Джона Хеда, уже позабытого дальнего родственника. Виктор в кои-то веки уснул сразу, положив голову под подушку — недавно придуманный им новый способ, о котором доктор Эрик Финт (сидящий на скамье у фонтана в городе Кито, Эквадор) так никогда и не узнает. Около половины первого ночи Шепарды начали храпеть, глухой издавал рокот в конце каждого выдоха, и сила хрипа у него была намного выше, чем у брата, скромного и грустного хрипуна. На прибрежной песчаной полосе у моря, которую Пнин все еще мерял шагами (его озабоченный друг пошел домой, чтобы взять карту), перед ним вдруг возникли следы, которые приближались, и он проснулся с тяжелым вздохом. Болела спина. Был уже пятый час. Дождь перестал.

Пнин по-русски вздохнул ("ох-ох-ох") и поворочался немного, чтоб улечься поудобнее. Старый Билл Шепард поплелся в нижнюю уборную,

обрушил дом, поплелся обратно.

Потом все снова уснули. Жаль, что никто на пустой улице не видел этого зрелища, когда рассветный ветерок взрябил большую сияющую лужу, превратив отражение телефонных проводов в зашифрованные строчки черных зигзагов.

ГЛАВА 5

С верхней площадки старой и редко уже потребной для дела смотровой вышки — или "наблюдательной каланчи", как называли их некогда, — на лесистом холме, достигавшем в высоту восемьсот метров и носившем название Гора Этрик, в одном из прекраснейших штатов прекрасной Новой Англии, какой-нибудь рискованный летний путешественник (Миранда или Мэри, Том или Джим, чьи имена, нацарапанные карандашом на перилах, уже почти стерлись) мог наблюдать просторное зеленое море, которое составляли по большей части клены, буки, душистые тополя и сосны. В пяти милях к западу тоненький белый церковный шпиль обозначал то место, где уютился городок Онкведо, знаменитый некогда своими источниками. В трех милях к северу от городка, в речной прогалине, у подножья поросшего травой холма, можно было различить коньки на крыше нарядного здания (известного под разными именами, а именно Куково, Куков дом, Куков замок или Сосны — это последнее как раз и было его первым названием). Вдоль южного склона Горы Этрик тянулось шоссе, которое, миновав Онкведо, уходило дальше на восток. Множество грунтовых дорог и пешеходных тропинок решетили лесистый треугольник равнины, ограниченной с одной стороны несколько извилистой гипотенузой мощеной сельской дороги, которая петляла от Онкведо до Сосен, с другой — длинным катетом уже упомянутого шоссе, а с третьей — коротким катетом реки, перехваченной стальным мостом близ Горы Этрик и деревянным близ Кукова.

В тусклый, но теплый летний день 1954 года Мэри, или Альмира, или, если на то пошло, Вольфганг фон Гете, чье имя вырезал на перилах какой-то старомодный остряк, могли бы заметить автомобиль, который свернул с шоссе как раз перед мостом и теперь, пробуя то один, то другой проселок, тыкался и мыкался в этом лабиринте сомнительных дорог. Он продвигался осторожно и неуверенно, потом, передумав, вдруг притормаживал и тогда вздымал за собой пыль, точно собака, скребущая задними лапами. Человеку, менее благожелательному, чем наш воображаемый наблюдатель, могло временами казаться, что за рулем этой бледно-голубой яйцевидной, с двумя дверцами, довольно запущенной, невнятного возраста крытой легковушки сидит какой-то идиот. На самом же деле за рулем машины сидел профессор Уэйндельского университета Тимофей Пнин.

Пнин начал брать уроки вождения в Уэйндельской автошколе еще в

начале этого года, но "настоящее понимание", как он сам выразился, пришло к нему лишь через несколько месяцев, в ту пору, когда боли в спине уложили его в постель, и он смог с истинным наслаждением целиком отдаться изучению сорокастраничного "Справочника водителя", выпущенного губернатором штата в содружестве с еще одним знатоком, а также статьи "Автомобиль" в "Американской энциклопедии", где были иллюстрации, представлявшие Коробки скоростей, Карбюраторы, Тормоза, а также одного из Участников Глидденского Автопробега^[70], circa^[32] 1905 года, завязшего в грязи на деревенской дороге в какой-то до крайности унылой местности. Двойственный характер первоначальных догадок Пнина был наконец увенчан прозрением в те, и только те, часы одиночества, когда, прикованный к ложу болезни, он шевелил босыми пальцами и переключал воображаемые рычаги передачи. Что касается настоящих уроков, даваемых ему грубияном инструктором, который мешал свободно развиваться его собственному стилю, визгливо выкрикивал на техническом жаргоне какие-то ненужные команды, а на перекрестках пытался вырвать у него руль и который постоянно раздражал своего спокойного, умного ученика выражениями просторечной грубости, то на уроках Пнин совершенно не способен был соединить автомобиль, которым он правил в своем сознании, с автомобилем, который он вел по дороге. Теперь, во время его болезни, они наконец слились воедино. И если он потерпел неудачу на первом экзамене, то главным образом оттого, что пытался, и весьма не ко времени, доказывать экзаменатору, что ничто не может быть унижительнее для разумно мыслящего существа, чем развивать у него условный рефлекс торможения при красном свете, если вокруг нет ни пешей, ни моторизированной души. В следующий раз он вел себя более осмотрительно и экзамен сдал; Мэрилин Гонор, неотразимая старшекурсница, которая у него занималась русским языком, продала ему за сотню долларов свой старый невзрачный автомобиль: она выходила замуж за владельца куда более внушительной машины. Путешествие из Уэйндела в Онкведо с остановкой на ночь в туристической ночлежке было медленным и трудным, однако обошлось без приключений. У самого Онкведо Пнин подкатил к бензоколонке и вышел из машины подышать деревенским воздухом. Белое непроницаемое небо нависало над полем клевера, с кучи дров, лежавшей близ какой-то лачуги, раздался крик петуха, яркий и зазубренный — звуковой петушиный гребень. Какая-то случайная интонация в хриловатом крике птицы и теплый ветерок, который прижимался к Пнину, точно ища его внимания, его привета, чего-нибудь,

вдруг напомнили ему тот совершенно забытый день, когда он, студент-первокурсник Петроградского университета, приехал на маленькую станцию прибалтийского курорта, — эти звуки, эти запахи, эта печаль...

— Вроде бы как душновато, — сказал заправщик с волосатыми руками, принимаясь протирать ветровое стекло машины.

Пнин вынул из бумажника письмо, развернул крошечную мимеографическую копию плана, к нему приложенную, и спросил у заправщика, далеко ли еще до церкви, за которой ему надо сворачивать влево, в сторону Кукова замка. Просто поразительно, до чего же этот заправщик похож был на уэйндельского коллегу Пнина доктора Гагена — одно из тех случайных совпадений, которые бессмысленны, как дурной каламбур.

— Туда и получше дорога есть, — сказал мнимый Гаген. — Эту-то вашу дорогу грузовики размесили, да потом там и повороты такие, что вряд ли вам будут по душе. Так что вы теперь ежайте прямо. Проедете через город. А в пяти милях за городом, как только дорогу проедете, что влево идет, на Гору Этрик, перед самым мостом возьмете влево, первый поворот. Там гравий, дорога хорошая.

Он быстро обошел капот и набросился со своей тряпкой на стекло с другого бока.

— Там вы повернете на север и уж тогда все время держите на север, на каждом перекрестке не сворачивайте, потому что там лесорубы много разных дорог проложили в лесу, но вы все время держите на север и за двенадцать минут точно до Кукова доберетесь. Мимо не проедете.

Пнин уже с час плутал в этом лабиринте лесных дорог и окончательно убедился, что ни это "держат на север", ни сам "север" ничего ему не говорят. Вряд ли он смог бы также объяснить, что побудило его, человека благоразумного, слушаться советов какого-то случайного доброхота, вместо того чтоб строго следовать педантически точным инструкциям, которые его друг Александр Петрович Кукольников (известный в этих местах как Эл Кук) приложил к своему письму, приглашавшему Пнина провести лето в его большом и гостеприимном деревенском доме. Наш незадачливый автомобилист заблудился уже слишком основательно, чтоб отыскать обратную дорогу к шоссе, и, поскольку он не слишком привычен был маневрировать на узких, изрезанных колеями дорогах, по обеим сторонам которых зияли канавы и даже овраги, все его поиски, попытки и колебания чертили, если глядеть на них сверху, рисунок столь причудливый, что человек, оказавшийся на смотровой вышке, мог бы следить за ним с невольным состраданием; однако ни единой живой души не было в этой

заброшенной, равнодушной вышине, если не считать муравья, у которого были свои собственные трудности: после многочасовых зряшных усилий он добрался наконец до верхней площадки и до перил балюстрады (его собственной avtostrady) и был теперь почти так же сбит с толку и озадачен, как нелепый игрушечный автомобильчик, ползавший далеко внизу. Ветер стих. Под бледным небом море древесных вершин не таило, похоже, ни признака жизни. Но прогремел нежданно ружейный выстрел, и сучок подскочил к небу. Густое сплетенье ветвей в этой части недвижимого леса вдруг ожило от прыжков, трепыханья и скачков по деревьям, после чего все утихло снова. Еще минута прошла, и тут все вдруг случилось разом: муравей отыскал вертикальный брус, что вел к самому навесу над вышкой, и начал свое восхождение с новым пылом; проглянуло солнце; и Пнин, впавший уже в полное отчаянье, оказался вдруг на мощеной дороге, где стоял ржавый, но все еще поблескивавший указатель, дающий направление заблудшим — "В Сосны".

Эл Кук был сыном Петра Кукольникова, богатого московского купца из старообрядцев, мецената и филантропа, до всего дошедшего своим трудом, — того самого Кукольникова, что при последнем царе дважды посажен был в крепость, довольно, впрочем, комфортабельную, за оказание финансовой помощи разным группам социал-революционеров (главным образом, террористов), а при Ленине, в завершение чуть не целой недели средневековых пыток в советской тюрьме, был казнен как "агент империализма". Семья его перебралась в Америку через Харбин году в 1925-м, и молодой Кук, благодаря своему спокойному упорству, практической сметке и некоторой научной подготовке, достиг высокого и надежного положения в большом химическом концерне. Добродушный, очень сдержанный человек плотного сложения, с большим неподвижным лицом, перевязанным посередке маленьким аккуратным пенсне, он и выглядел соответственно тому, что собой представлял — деловой администратор, масон, любитель гольфа, человек процветающий и осторожный. Он говорил на замечательно правильном и нейтральном английском лишь с легчайшею тенью славянского акцента и был восхитительный хозяин, из тех молчаливых хозяев, что встречают гостей, дружелюбно подмигивая, со стаканом виски в каждой руке, и лишь изредка, когда кто-нибудь из очень старых и близких его русских друзей засидится за полночь, заводил вдруг Александр Петрович спор о Боге, о Лермонтове, о Свободе, и тогда обнаруживал наследственную жилку бесшабашного идеализма, который немало смутил бы марксиста, подслушавшего такой разговор.

Женился он на Сьюзен Маршал, красивой, разговорчивой блондинке, дочке изобретателя Джорджа Дж. Маршала, и может, оттого, что трудно было представить себе Александра и Сьюзен иначе как во главе многодетного здорового семейства, и я, и другие любящие их друзья были просто потрясены, узнав, что вследствие какой-то операции Сьюзен никогда не сможет иметь детей. Они были еще молоды и любили друг друга с какой-то старосветской простотой и цельностью, наблюдать которые было весьма отрадно, и вот, вместо того чтоб населить свой деревенский дом детьми и внуками, они собирали здесь раз в два лета пожилых русских (так сказать, отцов и дядюшек Кука); в нечетные годы у них здесь гостили *amerikanskī* деловые знакомые Александра или

родственники Сьюзен и ее друзья.

Пнин впервые ехал в Сосны, но я-то уже бывал там раньше. Усадьба кишмя кишела русскими émigré — либералами и интеллектуалами, покинувшими Россию около 1920 года. Их можно было увидеть здесь на каждом пятачке крапчатой тени, сидящих на грубых деревенских скамьях и обсуждающих эмигрантских писателей — Бунина, Алданова, Сирина^[71]; лежащих в гамаках с лицом накрытым русскоязычной газетой — традиционная защита от мух; попивающих на веранде чай с вареньем; гуляющих по лесу и спрашивающих о том, съедобны ли здешние поганки.

Самуил Львович Шполянский, крупный, царственно спокойный пожилой господин, и граф Федор Никитич Порошин, маленький заика, легко приходящий в возбуждение, — оба они году в 1920-м были членами одного из героических краевых правительств, сформированных в провинциях России различными демократическими группами, чтобы противостоять большевистской диктатуре, — прохаживались по сосновой аллее, обсуждая тактику, которой им следует придерживаться на следующем объединенном заседании "Комитета свободной России" (основанного ими в Нью-Йорке) в отношении другой, более молодой антикоммунистической организации. Из беседки, полузадушенной белой акацией, доносились обрывки горячего спора между профессором Болотовым, который читал курс истории философии и профессором Шато, который читал курс философии истории. "Реальность есть длительность", — гремел один из голосов, голос Болотова. "А вот и нет! — восклицал другой. — Мыльный пузырь не менее реален, чем окаменелый зуб ископаемого".

Пнин и Шато, оба родившиеся в конце девяностых годов прошлого века, считались сравнительно молодыми. Большинство мужчин здесь перешагнуло за шестьдесят и плелось дальше. С другой стороны, некоторым из дам, как, например, княгине Порошиной и мадам Болотовой, еще не исполнилось пятидесяти, и, благодаря здоровой атмосфере Нового Света, они не только сохранили, но еще и усовершенствовали свою красоту. Некоторые из родителей привезли с собой своих отпрысков — здоровых, высоких, ленивых, избалованных американских детей студенческого возраста, не имевших ни чувства природы, ни знания русского языка, ни какого-либо интереса к подробностям происхождения или прошлого своих родителей. Казалось, они живут здесь в Соснах совершенно в ином физическом и умственном измерении, чем их родители: по временам они сходили со своего уровня на наш посредством неких межпространственных мерцающих сигналов; отрывисто отвечали на добродушную русскую

шутку или совет, даваемый от души, а потом испарялись снова; держались всегда в отдалении (так, что у человека могло появиться ощущение, будто он породил на свет какую-то породу эльфов) и предпочитали любые продукты в банках или пакетиках из онкведской лавочки тем изумительным русским блюдам, что подавали у Кукольниковых в протяжении долгих и шумных ужинов на занавешенной сеткой террасе. Порошин с глубоким огорчением рассказывал о своих детях (студентах второго курса Игоре и Ольге): "Близнецы мои просто несносны. Когда я вижу их дома за завтраком или обедом и пытаюсь рассказать им какие-нибудь самые интересные, самые увлекательные вещи — скажем, о местном выборном самоуправлении на Крайнем Севере России в семнадцатом веке или, скажем, что-нибудь об истории первых медицинских школ в России — есть, между прочим, отличная монография Чистовича^{72} об этом предмете, вышедшая в 1883 году, — они попросту уходят из-за стола и включают радио у себя в комнатах". В то лето, когда Пнин гостил в Соснах, близнецы тоже находились там. Но они оставались невидимы; и они, вероятно, совсем пропали бы от тоски в этом захолустье, если бы Ольгин поклонник, студент, фамилии которого, кажется, никто так и не узнал, не приехал однажды на уик-энд из Бостона в шикарной машине и если бы Игорь не нашел себе достойной подружки в болотовской Нине, красивой неряхе с египетскими глазами, смуглорукой и смуглоногой, посещавшей в Нью-Йорке какую-то балетную школу.

Хозяйство в Соснах вела Прасковья, крепкая шестидесятилетняя женщина из народа, чьей живости могла б позавидовать любая сорокалетняя. Радостно было видеть, как, одетая в мешковатые самодельные шорты и весьма солидную блузу с фальшивыми камешками, она стоит, уперев руки в бедра, на заднем крыльце и наблюдает за цыплятами. Она нянчила Александра и его брата в Харбине, когда они были маленькие, теперь же ей помогал по хозяйству ее муж, угрюмый и флегматичный старый казак, в жизни которого главными страстями были, во-первых, переплетное дело — он выучился переплетать самоучкой и испытывал потребность подвергать этой мучительной и весьма несовершенной операции любой старый каталог или бросовый журнал, попавший ему под руку; во-вторых, изготовление фруктовых наливок; и в-третьих, убийство мелких лесных тварей.

Из тех, кто гостил в Соснах в то лето, Пнин близко знал профессора Шато, который был другом его юности и с которым они вместе учились в Пражском университете в начале двадцатых годов, а также хорошо был знаком с Болотовыми, которых в последний раз видел в 1949 году, когда

произносил в их честь приветственную речь на официальном обеде, устроенном в "Барбизон-Плаза" Ассоциацией русских эмигрантских ученых по поводу приезда Болотова из Франции. Лично мне никогда особенно не нравились ни сам Болотов, ни его философские труды, которые так странно сочетают в себе невразумительное с избитым; я допускаю, что человек этот воздвиг гору — но это гора банальностей; зато мне всегда нравилась Варвара, цветущая и веселая жена хилого философа. Именно здесь, в Соснах, в 1951 году, она впервые увидела природу Новой Англии. Здешние березы и черника навели ее на мысль, будто Онкведское озеро лежит не на параллели, скажем, Охридского озера на Балканах, что соответствовало бы истине, а на параллели Онежского озера в Северной России, где она проводила летние каникулы первые пятнадцать лет своей жизни, до того, как сбежать от большевиков в Западную Европу вместе со своей тетушкой Лидией Виноградовой, известной феминисткой и общественной деятельницей. Вследствие этого заблуждения колибри и катальпа^{73} в цвету представились ей противоестественным и экзотическим зрелищем. А огромные дикобразы, приходящие из леса поглотить аппетитные, с душком гнили старые стены, или изящные, жуткие маленькие скурсы, которые лакомились на заднем дворе молоком из кошачьей миски, показались ей более мифическими, чем картинки в бестиарии. Она была поражена и зачарована великим множеством растений и живых тварей, которых она не могла опознать, приняла желтых американских славок^{74} за одичавших канареек, а на день рожденья Сьюзен, задыхаясь от восторга, горделиво принесла для украшения праздничного стола целую кипу живописных листьев ядовитого американского плюща, которые она прижимала к своей розовой веснушчатой груди.

Болотовы и мадам Шполянская, тощенькая женщина в брюках, первыми увидели Пнина, когда он осторожно повернул на песчаную аллею, поросшую по краям диким лупином, и, сидя очень прямо, намертво вцепившись негнущимися руками в баранку руля, так, словно он был фермер, привыкший больше к своему трактору, чем к автомобилю, на первой скорости, делая не больше десяти миль в час, въехал в старую, взъерошенную и поразительно взаправдошную сосновую рощу, отделявшую Куков замок от мощеной дороги.

Варвара резко вскочила на ноги в беседке, где они только что с Розой Шполянской застигли Болотова, читавшего затрепанную книжку и кутившего при этом запретную сигарету. Варвара захлопала в ладоши, приветствуя Пнина, а муж ее выказал все радушие, на какое только был способен, и помахал ему книгой, заложенной большим пальцем в том месте, где он читал. Пнин прикончил мотор и сидел, радостно улыбаясь своим друзьям. Ворот его зеленой спортивной рубахи был распахнут; его не до конца застегнутая на молнию штормовка казалась слишком тесной для его внушительного торса; его загорелая лысая голова с морщинистым челом и червеобразной вздувшейся веной на виске низко склонилась вперед, когда он вступил в борьбу с дверной ручкой, а потом наконец вывалился из машины.

"Avtomobil", kostyum — nu pryamo amerikanets (истинный американец), pryamo Ayzenhauer^[75]!" — сказала Варвара и представила Пнина Розе Абрамовне Шполянской.

— Сорок лет тому назад у нас с вами были общие друзья, — сказала эта дама, с любопытством разглядывая Пнина.

— О, давайте не будем называть таких астрономических цифр, — сказал Болотов, подходя к ним и заменяя в книге травинкой большой палец, служивший ему закладкой. — Знаете, — сказал он, пожимая руку Пнину, — в седьмой раз перечитываю "Анну Каренину" и испытываю такое же наслаждение, как сорок, нет, не сорок, а шестьдесят лет тому назад, когда я был семилетним мальчишкой. И каждый раз находишь что-нибудь новое — например, я заметил, что Лев Николаевич не знал, в какой день начинается действие романа: это как будто пятница, потому что в этот день часовщик приходил заводить часы в доме Облонских, но это также может быть четвергом, как об этом упоминается в разговоре Левина с

матушкой Китти на катке.

— Да какое, помилуйте, это имеет значение, — воскликнула Варвара. — Кому, помилуйте, нужно с точностью знать, в какой день?

— Я могу вам сказать точно, какой был день^{76}, — сказал Пнин, моргая от переменчивых солнечных лучей и глубоко вдыхая памятный запах северной сосны. — Действие романа начинается в начале 1872 года, точнее, в пятницу, двадцать третьего февраля по новому стилю. В утренней газете Облонский читает, что, по слухам, Бейст проследовал в Висбаден. Речь, конечно, идет о графе Фридрихе Фердинанде фон Бейсте, который только что был назначен австрийским послом ко двору Св. Джеймса. После вручения верительных грамот Бейст отбыл на континент в довольно продолжительный рождественский отпуск — он провел два месяца с семьей, и теперь возвращался в Лондон, где, как сообщают его двухтомные мемуары, шли в это время приготовления к благодарственному молебну, который должен был состояться в соборе Св. Павла двадцать седьмого февраля и имел причиной выздоровление принца Уэльского от брюшного тифа. Однако (odnako) и жарко же у вас (i zharko zhe u vas)! А теперь, я думаю, мне надо предстать пред пресветлые очи (presvetliie ochi, шутливое) Александра Петровича, а потом пойти окунуться (okupnutsya, также шутливое) в реке, которую он так живо описал в своем письме.

— Александр Петрович уехал до понедельника, по делам или просто развлечься, — сказала Варвара Болотова, — но, я думаю, вы найдете Сусанну Карловну на ее любимой лужайке за домом, она там загорает. Только крикните, прежде чем подходить слишком близко.

Куков замок представлял собой трехэтажное здание из кирпича и бревен, построенное примерно в 1860 году и частично перестроенное полвека спустя, когда отец Сьюзен купил его у семейства Дадли-Грин, чтобы превратить в отель для избранной публики, а именно для самых богатых посетителей целебных Онкведских источников. Это был вычурный и уродливый образец ублюдочной эклектики, в котором готика щетинилась среди остатков французского и флорентийского стилей; что же до первоначального замысла, здание должно было представлять собой ту разновидность строений, которую архитектор того времени Сэмюел Слоун [\[77\]](#) определил как "оригинальную северную виллу", "наилучшим образом приспособленную для самых высоких требований социальной жизни" и названную "северной" из-за тенденции к "устремленности в небо ее крыши и башен". Пикантность всех этих остроконечных башенок и веселый, даже как бы разухабистый вид всего сооружения, происходивший от того, что оно было скомпоновано из нескольких "северных вилл" поменьше, поднятых в небо и кое-как сколоченных вместе, причем детали несовпадающих по уровню крыш, неуверенно поднятых в небо коньков, карнизов, углов, сложенных из грубого камня, и прочие, самые разнообразные выступы торчали вкривь и вкось повсеместно, — все эти особенности хоть, увы, и недолго, а все же привлекали сюда туристов. К 1920 году Онкведские воды загадочным образом утратили какие бы то ни было чудодейственные свойства, и после смерти отца Сьюзен тщетно пыталась продать Сосны, поскольку у них был другой дом, в городе, где работал ее муж. Однако теперь, когда у них вошло в привычку принимать в Замке своих многочисленных друзей, Сьюзен рада была, что на их кроткое возлюбленное страшилище не нашлось покупателя.

Внутри дома разнобой был столь же велик, как снаружи. Четыре просторные комнаты выходили в огромный холл, который, даже в размахе гигантской каминной решетки, сохранял еще кое-что от былой отельной поры. Лестничные перила, по крайней мере одна из их опор, относились к 1720 году и были перенесены сюда при постройке из какого-то более старого здания, самое местонахождение которого не было ныне точно известно. Очень старыми были также красивые буфетные панели в столовой с изображениями дичи и рыб. В полдюжине комнат на каждом из верхних этажей, а также в двух боковых приделах здания среди

разрозненной мебели можно было обнаружить несколько прелестных бюро из сатинового дерева, несколько романтических кушеток из розового дерева, но также и самые разнообразные громоздкие и убогие предметы, вроде поломанных стульев, пыльных столиков с мраморной столешницей, мрачных *etageres* с осколками темного зеркала в задней стенке, печальными, как глаза старых обезьян. Пнину досталась приятная комната на верхнем этаже в юго-восточном крыле здания, на стенах которой сохранились остатки золоченых обоев: здесь стояли армейская койка и простой умывальник и виднелись в изобилии разнообразные выступы, консоли и лепные завитки. Пнин распахнул окна, улыбнулся улыбочкой лесной чащи, снова вспомнил далекий свой первый день в деревне и вскоре спустился вниз, переодетый в новый темно-синий купальный халат и самые обыкновенные резиновые галоши на босу ногу, что было разумной предосторожностью на случай, если придется идти по сырой траве или, что тоже вполне возможно, по траве, где водятся змеи. На садовой террасе он увидел Шато.

Константин Иванович Шато, тонкий и обаятельный ученый чисто русского происхождения (несмотря на свою фамилию, которую, как мне говорили, он унаследовал от обрусевшего француза, который усыновил сироту Ивана), преподавал в огромном Нью-Йоркском университете, и оттого они не виделись с его любезным другом Пниным по меньшей мере лет пять. Они обнялись с сердечным рыком радости. Признаюсь, я и сам находился под обаянием божественного Константина Ивановича в какой-то период своей жизни, а именно зимой 1935 или 1936 года, когда мы имели с ним обыкновение встречаться каждое утро для прогулки под лавровыми и каркасными деревьями Граса, на юге Франции, где он снимал тогда виллу вместе с несколькими другими русскими изгнанниками. Его мягкий голос, аристократическое санкт-петербургское картавое "р", кроткий, печальный взгляд его оленьих глаз, его темнорыжая эспаньолка, которую он беспрестанно теребил и дергал своими длинными, хрупкими пальцами, — все в нем (пользуясь литературной формулой, столь же старомодной, как и он сам) вызывало в его друзьях редкое чувство благополучия. Они с Пниным поговорили некоторое время, обмениваясь мнениями. Как это нередко ведется среди убежденных изгнанников, всякий раз, когда они встречались после разлуки, они не только пытались восстановить упущенные подробности личной судьбы, но также и подытожить при помощи нескольких произносимых скороговоркой ключевых слов, намеков, а также оттенков интонации, совершенно не поддающихся передаче на иностранном языке, развитие новейшей русской истории, те тридцать пять

лет безнадежной несправедливости, которые наступили вслед за целым столетием пробивавшейся к свету справедливости и мерцавшей во тьме надежды. Потом они перешли к обычным профессиональным разговорам, какие ведут европейские преподаватели за границей, вздыхая и качая головами по поводу "типичного американского студента", который не знает географии, обожает шум и считает, что образование не более, чем средство приобрести когда-нибудь хорошо оплачиваемую должность. Потом они расспросили друг друга, как движется работа, и оба проявили исключительную скромность и сдержанность, говоря о своих научных изысканиях. В конце концов, двинувшись по луговой тропке, где цветы золотарника мягко шлепали их по ногам, в сторону леса, туда, где в скалистых берегах текла речка, они заговорили каждый о своем здоровье: Шато, который так лихо держал руку в кармане белых фланелевых штанов под щегольски распахнутым на белой фланелевой жилетке блестящим пиджаком с искрой, бодро сообщил, что в скором будущем ему предстоит операция с целью обследования брюшной полости, а Пнин сказал, улыбаясь, что всякий раз, когда он проходит рентген, врачи тщетно пытаются понять, что означает эта его, как они выражаются, "тень за сердцем".

— Хорошее название для плохого романа, — заметил Шато.

Когда они шли по заросшему травой холму, уже приближаясь к лесу, какой-то почтенный розовощекий господин в полосатом льняном костюме, с копной седых волос и алым опухшим носом, похожим на огромную малиновую ягоду, стал крупными шагами спускаться им навстречу по склону холма с выражением крайнего неудовольствия, совершенно искажавшим его черты.

— Мне придется вернуться за шляпой, — воскликнул он совершенно трагически, подойдя к ним ближе.

— Вы не знакомы? — проворковал Шато и слегка вскинул руки, представляя их друг другу. — Тимофей Павлыч Пнин, Иван Ильич Граминеев.

— Мою почтение (Мое почтение), — произнесли они, поклонившись друг другу и обменявшись крепким рукопожатием.

— Я-то думал, — продолжил обстоятельный Граминеев, — что и весь день будет такой же облачный, как утро. По глупости (по gluposti) я вышел с непокрытой головой. А теперь солнце просто мозги жарит. Пришлось прервать работу.

Он указал на вершину холма. Там стоял его мольберт, изящно вырисовываясь на фоне синего неба. С этой вершины он писал вид,

открывавшийся в долину за холмом, дополненный старым странным сараем, искривленной яблоней и млечной коровой.

— Могу предложить вам свою панаму, — сказал добряк Шато, но Пнин уже извлек из кармана своего халата большой красный платок: он искусно завязал узелками его углы.

— Чудесно... Премного благодарен, — сказал Граминеев, прилаживая это приспособление.

— Минуточку, — сказал Пнин. — Надо подоткнуть узелки.

Покончив с этим, Граминеев зашагал через поле к своему мольберту. Он был известный, откровенно академический художник, чьи душевные пейзажи маслом — "Матушка-Волга", "Три старых друга" (мальчик, кляча и собачка), "Апрельская полынь" и тому подобное — все еще украшали музей в Москве.

— Кто-то мне говорил, — сказал Шато, когда они снова двинулись по направлению к реке, — что у Лизиного мальчика необычайный талант к живописи. Это правда?

— Да, — сказал Пнин. — И тем более обидно, что его мать, которая, я полагаю, намерена в третий раз выйти замуж, вдруг решила забрать его до конца лета в Калифорнию, хотя если б он поехал со мной сюда, как мы планировали, у него была бы роскошная возможность поучиться у Граминеева.

— Вы преувеличиваете эту роскошь, — мягко отозвался Шато.

Они подошли к кипящему и сверкающему речному потоку. Впадина в скалистом выступе между двумя маленькими водопадами образовала под сенью ольхи и сосен естественный плавательный водоем. Шато, который не купался, устроился поудобней на камне. На протяжении всего учебного года Пнин с регулярностью подставлял свое тело под лучи загарной лампы; поэтому теперь, когда он остался в одних плавках, кожа его отливала в пестром солнечном трепещущем свете приречной рощи самым густым из оттенков красного дерева. Он снял свой крест и свои галоши.

— Посмотрите, какая красота, — сказал внимательный Шато.

Две дюжины крошечных бабочек, все одного вида, уселись на полоске мокрого песка, сложив свои прямые крылышки и обнажив бледный их испод с черными крапинками и маленькими павлиньими пятнышками, а также с оранжевым ободком по краям заднего крыла; часть из них была обеспокоена упавшей с ноги Пнина галошей, и, обнажив небесную синеву с наружной стороны крылышек, они некоторое время, точно синие хлопья снежинок, порхали над пляжем, пока не опустились снова.

— Жаль, нет Владимира Владимировича, — сказал Шато. — Он бы

все нам рассказал об этих волшебных существах.

— У меня всегда было впечатление, что его увлечение энтомологией просто поза.

— О нет, — сказал Шато. — Вы так его потеряете когда-нибудь, — добавил он, указывая на православный крест с золотой цепочкой, который Пнин, сняв с шеи, повесил на сучок. Его сиянье смущало кружившую над ним стрекозу.

— Может, я и не имел бы ничего против того, чтоб его потерять, — сказал Пнин. — Как вам хорошо известно, я ношу его только по сантиментальным причинам. И эти сантименты становятся для меня обременительными. Строго говоря, есть нечто слишком материальное в этой попытке держать частичку своего детства в соприкосновении с грудной клеткой.

— Вы не первый, кто сводит веру к чувству осязания, — сказал Шато, который посещал православную церковь и сожалел об агностицизме своего друга.

Слепень в ослеплении глупости сел на лысую голову Пнина и был оглушен шлепком его мясистой ладони.

С булыжника, что был размером поменьше того, на котором сидел Шато, Пнин осторожно вступил в коричневую и синюю воду. Он заметил, что часы еще оставались у него на руке, — снял их и положил в одну из галош. Медленно поводя загорелыми плечами, Пнин брел по воде, и петляющие тени листьев дрожали, сползая по его широкой спине. Он остановился, потом, разом расколов блистанье и тени, смочил склоненную голову, потер мокрыми руками шею, смочил по очереди каждую из подмышек, а потом, сложив ладони, скользнул в воду и поплыл, распространяя своим неторопливым, степенным брассом мелкую рябь по воде. Пнин совершил торжественный круг вдоль края естественного водоема. Он плыл с ритмическим клетотом — то булькая, то пыхтя. Ритмически раздвигал ноги, раскидывал их от коленей, сгибая и разгибая руки, точно гигантская лягушка. Поплавав так две минуты, он выбрел на берег и сел на камень, чтобы обсохнуть. Потом надел крест, часы, галоши и купальный халат.

Обед был подан на занавешенной металлической сеткой террасе. Сев за стол рядом с Болотовым и принимаясь размешивать сметану в тарелке botwin'a (охлажденный свекольник), в которой позванивали розовые кубики льда, Пнин автоматически вернулся к давешнему разговору.

— Вы можете заметить, — сказал он, — что есть существенная разница между духовным временем Левина и физическим временем Вронского^[78]. В середине книги Левин и Китти отстают от Вронского и Анны на целый год. Когда воскресным вечером 1876 года Анна бросается под товарный поезд, она успевает прожить уже четыре года со времени начала романа, тогда как в случае Левина за тот же самый период, с 1872 по 1876 год, едва ли прошло три года. Это один из лучших примеров относительности в литературе, который мне известен.

После обеда было предложено поиграть в крокет. Эти люди предпочитали освященное временем, однако незаконное с точки зрения правил расположение ворот, при котором двое из десяти перекрещиваются в центре площадки, образуя так называемую "клетку", или "мышеловку". Стало сразу очевидно, что Пнин, который играл с мадам Болотовой против Шполянской и графини Порошиной, бесспорно лучший из игроков. Как только колышки были вбиты в землю и игра началась, человек этот преобразился. Из обычно медлительного, тяжеловесного и довольно-таки скованного человека он превратился вдруг в адски подвижного, стремительного, бессловесного и хитролицего горбуна. Казалось, что все время его очередь бить. Держа очень низко свой молоток и элегантно его раскачивая между расставленными тощими ножками (он уже отчасти произвел сенсацию, когда надел специально для игры трусы-"бермуды"), Пнин предварял всякий удар ловким прицеливающимся вздрогом обушка, затем наносил точный удар по шару, а дальше, все еще сгорбившись и не ожидая, пока остановится шар, быстро переходил на место, где, по его расчетам, он должен был остановиться. С истинно геометрической страстью он прогонял шар через самую середину ворот, вызывая восхищенные возгласы зрителей. Даже Игорь Порошин, точно тень, проходивший мимо с двумя банками пива для какой-то интимной пирушки, остановился на мгновение и одобрительно помотал головой, прежде чем исчезнуть в зарослях. Жалобы и протесты присоединились, однако, к аплодисментам, когда Пнин с жестоким безразличием крокетировал или,

точней, ракетировал шар противника. Приводя в соприкосновение с чужим свой шар, Пнин крепко прижимал его своей на удивление крошечной ступней, а потом с такой силой ударял по нему, что шар противника улетал далеко в поле. Когда обратились за судом к Сьюзен, она сказала, что это совершенно против правил, но мадам Шполянская настаивала, что это совершенно допустимо, и сказала, что, когда она еще была ребенком, ее английская гувернантка называла этот удар "Гонконг". После того как Пнин выиграл и все было окончено, а Варвара отправилась вместе со Сьюзен готовить вечерний чай, Пнин тихо удалился на скамью под соснами. Какое-то до крайности неприятное и пугающее сердечное стеснение, которое он уже несколько раз испытал за свою взрослую жизнь, навалилось на него сейчас. Не было ни боли, ни сильного сердцебиения, но было ужасное чувство погружения и полного растворения в окружающем — в закате, в красных стволах деревьев, в песке и в недвижимом воздухе. Тем временем Роза Шполянская, заметив, что Пнин сидит в одиночестве, и воспользовавшись этим, подошла (*sidite, sidite!*) и присела рядом с ним на скамью.

— В 1916-м или 1917-м, — сказала она, — вам, может быть, приходилось слышать мою девичью фамилию — Геллер — от некоторых из ваших близких друзей.

— Нет, что-то не припоминаю, — сказал Пнин.

— Да это и неважно. Не думаю, чтоб мы даже встречались когда-нибудь. Но вы хорошо знали моего двоюродного брата и сестру, Гришу и Миру Белочкиных. Они о вас всегда говорили. Он живет в Швеции, кажется, — и, конечно, вы слышали про ужасную смерть его бедной сестры...

— Да, слышал, — сказал Пнин.

— Ее муж, — сказала госпожа Шполянская, — был обаятельнейший человек. Самуил Львович и я очень близко знали его и его первую жену Светлану Черток, пианистку. Он был интернирован отдельно от Миры и умер в том же самом концентрационном лагере, что и мой старший брат Миша. Вы не знали Мишу? Он ведь тоже был влюблен в Миру когда-то.

— *Tshay gotoff* (Чай готов), — крикнула Сьюзен с террасы на своем смешном обиходном русском. — Тимофей, Розочка! *Tshay!*

Пнин сказал госпоже Шполянской, что он тоже придет через минутку, и остался после ее ухода сидеть в первых сумерках под деревьями, крепко сжимая руки на забытом крокетном молотке. Две керосиновые лампы уютно светили на веранде деревенского дома. Доктор Павел Антонович Пнин, отец Тимофея, врач-офтальмолог, и доктор Яков Григорьевич

Белочкин, отец Миры, педиатр, никак не могли оторваться от шахматной партии в своем уголке веранды, и госпожа Белочкина сказала служанке подать им чай туда — на особом японском столике, который поставили возле их шахматного стола, — стаканы с чаем в серебряных подстаканниках, творог и простокваша с черным хлебом, садовая земляника (*zemlyanika*) и ее окультуренный вид, *klubnika* (мускусная или зеленая земляника), а также сверкающие золотистые варенья и различные печенья, вафли, и сухари, и сушки — нечто вроде "pretzels", [\[33\]](#) — чтобы не тащить увлеченных игрой докторов к общему столу на другом конце веранды, где уже сидели все члены семьи и гости, иные ясно освещенные лампой, иные мало-помалу сливавшиеся со светлым туманом.

Невидящая рука доктора Белочкина взяла сушку; зрячая рука доктора Пнина взяла ладью. Доктор Белочкин жевал и глядел на брешь, пробитую в его рядах; доктор Пнин обмакнул воображаемый сухарь в дыру своего стакана.

Загородный дом, который снимали в то лето Белочкины, стоял на том же самом прибалтийском курорте, возле которого вдова генерала N. сдавала Пниным домик на краю своего обширного имения, холмистого и заболоченного, окруженного темными лесами, вторгавшимися на земли запустелого поместья. Тимофеем Пнин снова был неуклюжий, застенчивый и упрямый восемнадцатилетний юноша, поджидавший в темноте Миру — и, несмотря на тот факт, что его логическая мысль ввинчивала электрические колбочки в керосиновые лампы, тасовала людей за чайным столом, превращая их в стареющих *émigré*, и прочно, безнадежно, навеки опутывала проволоочной сеткой ярко освещенную террасу, мой бедный Пнин с пронзительной ясностью галлюцинации представил себе Миру, ускользавшую с террасы и подходившую к нему среди высоких стеблей табака, чьи бледные цветы сливались во мраке с белизной ее платья. Эта ясность видения совместилась каким-то образом с чувством растворения и со стеснением в его груди. Он с осторожностью отложил молоток и, желая рассеять боль, стал удаляться от дома, шагая сквозь молчаливую сосновую рощу. Из автомобиля, который стоял близ сарайчика с садовыми инструментами и в котором сидело, наверное, по меньшей мере двое из здешних детей, неиссякаемой струйкой сочилась радиомузыка.

"Джаз, джаз, всегда им непременно нужен их джаз, этим молодым", — пробормотал Пнин себе под нос и свернул на тропинку, выводившую к реке и к лесу. Он вспоминал увлечения своей и Мириной юности, любительские спектакли, цыганские песни, ее страсть к фотографии. Где они теперь, все эти ее художественные снимки — собачки, облака, цветы, апрельская

прогалина с тенями берез на влажно-сахарном снегу, солдаты, позирующие ей на крыше товарного вагона, закатный горизонт, рука, держащая книгу? Он вспомнил их последнюю встречу на набережной Невы в Петрограде, и слезы, и звезды, и теплую красно-розовую подкладку ее каракулевой муфты. Гражданская война (1918–1922) разлучила их; история разбила их помолвку. Тимофей добирался на юг, а семья Миры бежала тем временем от большевиков в Швецию, потом осела в Германии, где Мира вышла замуж за меховщика русского происхождения. Однажды, в начале тридцатых, Пнин, женатый к тому времени тоже, сопровождал жену в Берлин, где ей хотелось присутствовать на конгрессе психотерапевтов, и как-то вечером, в ресторане на Курфюрстендам, он снова увидел Миру. Они обменялись несколькими словами, она улыбнулась ему этой своей памятной улыбкой, из-под темных бровей, с этим застенчивым, робким лукавством; и очерк ее высоких скул, и продолговатость глаз, и тонкость руки и щиколотки — все было в ней неизменным, все было бессмертным, а потом она вернулась к мужу, который получал пальто в гардеробной, вот и все — но остался укол нежности, что был сродни дрожащему очертанию стиха, о котором ты знаешь, что знаешь его, но припомнить не можешь.

Напоминанье болтливой госпожи Шполянской вызвало к жизни Мирин образ с необычайною силой. Только в отрешенности, рождаемой неизлечимой болезнью, только в трезвости приближения смерти можно примириться с этим хотя бы на миг. Чтобы вести себя как разумное существо, Пнин приучил себя за последние десять лет никогда не вспоминать Миру Белочкину — не оттого, что само по себе воспоминание о юношеском романе, вполне банальном и кратком, угрожало его спокойствию духа (увы, воспоминания об их с Лизой браке были достаточно настойчивы, чтобы вытеснить любые прежние любви), а оттого, что если быть до конца честным с самим собой, то никакая сознательность и совесть, а стало быть, и никакое сознание вообще не могли существовать в мире, где возможно что-либо вроде Мириной смерти. Приходилось забыть — потому что невозможно было жить с мыслью о том, что эту изящную, хрупкую, нежную молодую женщину, с этими ее глазами, с этой улыбкой, с этими садами и снегами за спиной, свезли в скотском вагоне в лагерь уничтожения и убили, впрыснув ей фенол в сердце, в это нежное сердце, биенье которого ты слышал под своими губами в сумерках прошлого. И поскольку не было с точностью зарегистрировано, какой смертью она умерла, Мира продолжала умирать в твоём сознании великим множеством смертей и переживать великое множество воскрешений лишь для того, чтоб умирать снова и снова, уводимая на смерть специально

обученной медсестрой, заражаемая прививкой грязи, бациллы столбняка, битого стекла, отравленная в фальшивом душе прусской, то бишь синильной, кислотой, сожженная заживо на облитой бензином куче буковых поленьев. По мнению одного из специалистов, производивших расследование, с которым Пнину как-то пришлось разговаривать в Вашингтоне, одно было очевидно: поскольку она была слишком слабой, чтобы выполнять работы (хотя она все еще улыбалась, все еще могла помогать там другим еврейкам), она была отобрана, чтоб умереть и быть сожженной уже через несколько дней после прибытия в Бухенвальд, в прекрасном лесном Гроссер Эттерсберге, как звучно именовался этот район. Это лишь в часе неспешной ходьбы от Веймара, где прогуливались Гете, Гердер, Шиллер, Виланд, неподражаемый Коцебу^[79] и другие. "Aber warum — но почему... — жалобно причитал добрейший из живых доктор Гаген, — почему нужно было устраивать этот жуткий лагерь так близко!" — ибо ведь и в самом деле это было близко — всего в пяти милях от сердца культурной Германии — "этой страны университетов", как элегантно выразился президент Уэйнделевского университета, известный своим умением найти *mot juste*,^[34] делая обзор европейской ситуации в своей недавней речи, посвященной началу учебного года, где он отпустил комплимент и другому застенку, "России — стране Толстого, Станиславского, Раскольникова и других великих и добрых людей".

Пнин медленно шел под безмолвными соснами. Небо умирало. Он не верил в самодержавного Бога. Он верил, смутно, в демократию призраков. Души умерших, вероятно, создают комитеты, которые на своих нескончаемых заседаниях решают судьбы живых.

Комары становились докучливы. Пора пить чай. Пора сыграть в шахматы с Шато. Странный приступ миновал, снова можно было дышать. На дальней вершине холма, на том самом месте, где несколькими часами раньше стоял мольберт Граминеева, два черных силуэта видны были на фоне дотлевающе-красного неба. Они стояли совсем близко, обратившись лицом друг к другу. С дороги Пнину было трудно сказать, дочка ли это Порошина со своим кавалером, или Нина Болотова с юным Порошиным, или просто символическая пара, набросанная искусной и легкой рукой на последней странице его угасающего дня.

ГЛАВА 6

Начался осенний семестр 1954 года. Снова на мраморной шейке простецкой Венеры в вестибюле Гуманитарных наук появилось киноварное пятнышко губной помады, невзаправдашный след поцелуя. Снова "Уэйндельские известия" обсуждали проблему автостоянок. Снова на полях библиотечных книг серьезные первокурсники писали столь полезные глоссы, как "Описание природы" или "Ирония"; а в изящном издании стихов Малларме некий особо одаренный школяр уже успел фиолетовыми чернилами подчеркнуть это трудное слово "oiseaux" и над ним нацарапать — "птицы". Вновь порывы осеннего сильного ветра залепляли опавшими листьями стенку зарешеченной галереи, ведущей из здания Гуманитарных наук во Фриз-Холл. И снова спокойными вечерами огромные янтарно-смуглые бабочки-данаиды хлопали крыльями над асфальтом и над лужайками в неторопливом своем перелете на юг, и не до конца втянутые их задние лапки довольно низко свисали под крапчатым тельцем.

А все ж университет еще скрипел понемногу. Усердные аспиранты, уже имевшие беременных жен, еще писали свои магистерские диссертации о Достоевском и Симоне де Бовуар^[80]. Литературное отделение продолжало еще трудиться вовсю в убеждении, что Стендаль, Голсуорси, Драйзер и Манн великие писатели^[81]. Словесные гибкие штампы вроде "конфликт" или "стиль" были все еще в моде. Как всегда, бесплодные наставники плодоносно дерзали "творить", обозревая книги своих более плодovitых коллег, и, как всегда, целый выводок университетских счастливчиков уже вкушал или только еще собирался вкушать радости, приносимые всяческими наградами этого года. Так, до смешного скромная субсидия предоставляла расторопной чете Старров — Кристоферу Старру, человеку с лицом младенца, и его инфантильной супруге Луизе — с отделения изящных искусств совершенно уникальную возможность произвести запись послевоенных народных песен в Восточной Германии, разрешение на въезд в которую этим непостижимым молодым людям удалось как-то добыть. Тристрам У. Томас (для друзей просто "Том"), профессор антропологии, получил десять тысяч долларов от Мандевильского фонда для изучения привычек питания у кубинских рыбаков и пальмолазов-высотников. Другое щедрое учреждение пришло на помощь доктору Бодо фон Фальтернфельсу в его работе над завершением "библиографии как опубликованных, так и существующих в рукописи

произведений последних лет, посвященных влиянию учеников Ницше на Современную Мысль". И наконец, последним по порядку, но не по своей важности, было присуждение особо щедрой субсидии, позволяющей известному уэйндельскому психиатру, доктору Рудольфу Аура испробовать на десяти тысячах младших школьников так называемый Чернильный тест, при котором ребенку предлагают опустить указательный пальчик в чашечки с разноцветными жидкостями, а потом подвергают точному измерению пропорциональное соотношение между общей длиной пальца и смоченной его частью, что находит отражение в разнообразных увлекательных диаграммах.

Осенний семестр начался, и перед доктором Гагеном возникла весьма сложная проблема. Во время летних каникул у него состоялся неофициальный разговор с одним старым другом, который спросил, что он думает о предложении принять с нового года замечательно выгодный профессорский пост в Сиборде, университете куда более значительном, чем Уэйндел. С одной стороны никаких проблем не возникало. Но с другой стороны, Гаген оказывался перед лицом того огорчительного факта, что отделение, которое он так любовно выпестовал и с которым даже французское отделение Блоренджа, располагающее куда более значительными финансами, не могло соперничать в плане культурного воздействия, добровольно будет отдано им в лапы коварного Фальтернфельса, которого он, Гаген, сам вывез из Австрии и который обратил теперь против него оружие, прибрав посредством разнообразных интриг к рукам влиятельное ежеквартальное издание "Еуропа Nova", основанное Гагеном еще в 1945 году. Предполагаемый отъезд Гагена — о котором он пока еще ничего не сообщал коллегам — должен был повлечь за собой и еще более драматическое последствие: приходилось бросать в беде Пнина, ассистента профессора. В Уэйнделе не было постоянного русского отделения, и академическое существование моего бедного друга всегда зависело от эклектического немецкого отделения, на одной из ветвей которого он и существовал в виде Сравнительно Литературоведческого отростка. Из одного только желания сделать гадость, Бодо непременно обрубит эту ветвь, и тогда Пнину, которому больше нечем будет поддерживать свое существование в Уэйнделе, придется его покинуть — разве только найдется какое-нибудь другое отделение языка и литературы, которое согласилось бы его усыновить. Были только два отделения, которые могли бы пойти на это, — английское и французское. Но президент английского отделения Джек Кокарек в штыки встречал все, что бы ни делал Гаген, а Пнина он вообще не принимал всерьез, к тому же он

вел неофициальные, но отнюдь не безнадёжные торги с одним видным англо-русским писателем, который в случае необходимости мог бы читать все те курсы, которые должен был вести Пнин, чтобы выжить. Как к последнему прибежищу Гаген обратился к Блоренджу.

У президента отделения французского языка и литературы Леонардо Блоренджа были две любопытные особенности: он не любил литературу и не знал по-французски. Это не мешало ему предпринимать дальние путешествия, чтоб присутствовать на конгрессах современного языка, на которых он щеголял своей профессиональной непригодностью так, словно это была какая-нибудь царственная причуда, и отбивал любую попытку заманить его в дебри "парлей-воус-франсес" мощными залпами здорового корпоративно-заговорщицкого юмора. Он пользовался высоким авторитетом как выбиватель денег и только недавно сумел убедить богатого старика, которого до того понапрасну обхаживали три университета, пожертвовать фантастическую сумму на истинную вакханалию исследовательских трудов, возглавляемых доктором Славской из Канады и имеющих целью соорудить на холме близ Уэйндела "Французскую деревню", точнее, две улицы и площадь, точную копию старинных улиц городка Вандель, что в Дордони^{82}. Несмотря на грандиозный размах, которым отмечены были административные озарения Блоренджа, сам он был человек аскетических вкусов. Ему довелось учиться в одной школе с Сэмом Пуром, президентом Уэйндельского университета, и вот уже много лет, даже и после того, как президент потерял зрение, они регулярно отправлялись вдвоем удить рыбу на голое, продутое ветрами озеро, которое расположено было в семидесяти милях к северу от Уэйндела, в конце гравиевой дороги, окаймленной кустиками иван-чая, в зарослях столь неприглядных — малорослые дубки и саженцы сосны, — что на иерархической лестнице природы они соответствовали бы тому же, чему в городе соответствуют трущобы. Его жена, милая женщина весьма невысокого происхождения, говоря о нем у себя в клубе, называла его "профессор Блорендж". Курс, который он читал, назывался "Великие французы" и был целиком переписан для него секретаршей из подшивки "Исторического и философского журнала Гастингса"^{83} за 1882–1894 годы, каковую подшивку он нашел на чердаке и утаил от университетской библиотеки.

Пнин только что снял небольшой домик и пригласил всех на новоселье — и Гагенов, и Клементсов, и Тэйеров, и Кэти Кис. Утром того же дня добрый доктор Гаген сделал отчаянную вылазку в кабинет Блоренджа и посвятил его, но только его одного, в создавшуюся ситуацию. Когда он сказал Блоренджу, что Фальтернфельс является убежденным антипнинистом, Блорендж сухо заметил, что и он тоже; что, впервые увидев Пнина на людях, он "с определенностью почувствовал" (просто поразительно, как часто эти люди практического склада предпочитают чувствовать, а не думать), что Пнина и близко подпускать нельзя к американскому университету. Верный Гаген сказал, что на протяжении нескольких семестров Пнин чудесно справлялся с Романтическим Направлением и, без сомнения, мог бы взять на себя Шатобриана и Гюго в рамках французского отделения.

— Доктор Славская сама этой кодлой занимается, — сказал Блорендж. — Вообще, мне иногда кажется, что у нас перебор литературы. Вот глядите, на этой неделе мисс Мопсуэстия у нас начала Экзистенциалистов, этот ваш Бодо дует Ромэна Роллана, я читаю про генерала Буланже^{84} и де Беранже. Нет, нам этой штуки вполне достаточно.

Гаген выложил последнюю карту, высказав предположение, что Пнин мог бы заняться преподаванием французского: как многие русские, наш друг имел в детстве французскую гувернантку, а после революции он больше пятнадцати лет прожил в Париже.

— Вы хотите сказать, — строго спросил Блорендж, — что он может говорить по-французски?

Гаген, зная о специфических требованиях Блоренджа, замялся.

— Выкладывайте, Герман! Да или нет?

— Уверен, что он сумеет приспособиться.

— Значит, он все же говорит, так?

— Да, конечно.

— В этом случае, — сказал Блорендж, — мы не можем подпускать его к первокурсникам. Это будет несправедливо по отношению к мисс Смит, которая дает в этом семестре начальный курс и, естественно, по своим знаниям должна опережать своих студентов всего на один урок. У нас так сложилось, что мистеру Хашимото нужен ассистент для его переполненной

средней группы. А ваш этот, как его, он так же хорошо читает по-французски, как говорит?

— Повторяю, он сможет приспособиться, — уклончиво сказал Гаген.

— Знаю я это приспособление, — сказал Блорендж нахмурившись. — В 1950 году, когда Хаш уезжал, я нанял этого швейцарца, лыжного инструктора, так он протащил в класс копии какой-то старой французской антологии. У нас потом чуть не целый год ушел, чтоб вернуть класс к его начальному уровню. Так вот, если этот ваш, как его там, не умеет читать по-французски...

— Боюсь, что умеет, — со вздохом сказал Гаген.

— Тогда мы вообще не сможем его использовать. Как вы знаете, я верю только в записи и другие технические приспособления. Никаких книг мы не разрешаем.

— Остается еще высший курс французского, продвинутый, — пробормотал Гаген.

— Каролина Славская и я, мы сами его ведем, — ответил Блорендж.

Для Пнина, который ровным счетом ничего не знал о горестях своего покровителя, новый, осенний семестр начался в целом неплохо: никогда не было у него так мало студентов, которые досаждали бы ему, и так много времени для собственных исследований. Его исследования давно вошли в ту блаженную стадию, когда поиски перерастают заданную цель и когда начинает формироваться новый организм, как бы паразит на созревающем плоде. Пнин упорно отвращал свой мысленный взгляд от конца работы, который был виден уже так ясно, что можно различить было ракету типографской звездочки и сигнальную вспышку "sic!". Приходилось остерегаться этой полоски земли, губительной для всего, что длит радость бесконечного приближения. Карточки мало-помалу отягчали своей плотной массой картонку от обуви. Сличение двух преданий; драгоценная подробность поведения или одежды; ссылка, проверив которую он обнаружил неточность, которая явилась следствием неосведомленности, небрежности или подлога; все эти бесчисленные триумфы bezkorіstnyū (бескорыстной, самоотверженной) учености — они развратили Пнина, они превратили его в опьяненного сносками ликующего маньяка, что распугивает моль в скучном томе толщиной в полметра, чтоб отыскать там ссылку на другой, еще более скучный том. В ином же, более человеческом плане был у него теперь этот кирпичный домик, что он снял на Тодд-роуд, на углу Скалистого проспекта.

Раньше дом принадлежал семье покойного Мартина Шепарда, приходившегося дядей бывшему домохозяину Пнина с Ручейной улицы и долгие годы служившего смотрителем имения Тоддов, которое приобрела теперь городская управа Уэйндела, чтоб превратить этот бестолковый особняк в современную лечебницу. Плющ и ели совершенно заглушили запертые ворота, верхняя часть которых через северное окно его нового дома была видна Пнину в конце Скаистой улицы. Улица эта как бы составляла короткую перекладину буквы "Т", в левой подмышке которой и расположен был дом Пнина. Прямо напротив дома, на другой стороне Тоддроуд (вертикальная палочка "Т"), старые вязы отделяли песчаное плечо латаной асфальтовой мостовой от кукурузного поля, уходившего на восток от улицы, а вдоль западной стороны улицы целый батальон молодых елок, новобранцы один к одному, шагал за забором добрые полмили от дома Пнина к югу, по направлению к кампусу, до сигарной коробки гигантских

размеров, в которой жил Футбольный Тренер Университета.

Сознание того, что он живет в отдельном доме, совсем один, давало Пнину совершенно чудесное ощущение и поразительным образом утоляло застарелую и усталую жажду самого сокровенного его существа, истрепанного и придавленного тридцатью пятью годами бездомности. Одной из самых дивных особенностей его нового дома была тишина — небесная, деревенская и абсолютно надежная, являвшая столь благословенный контраст с той настойчивой какофонией, что в прежних его обиталищах обступала его со всех шести сторон в его снятых внаем комнатах. К тому же этот крошечный домик был такой вместительный! С благодарным изумлением Пнин думал о том, что если бы не было ни русской революции, ни исхода, ни долгих лет изгнания во Франции, ни натурализации в Америке, то все — даже в лучшем случае, в лучшем, Тимофей! — все было бы почти так же: профессорство в Харькове или в Казани, загородный дом вроде этого, в нем старые книги, осенние цветы вокруг дома. Это был — если говорить с большей определенностью — двухэтажный домик из вишнево-красного кирпича, с белыми ставнями и гонтовой кровлей. Перед домом разбит был палисадничек в полсотни аршин, а за домом участок упирался в крутую замшелую скалу, заросшую по хребту какими-то рыжевато-бурыми кустами. Зачаток подъездной дороги, пройдя вдоль южной стены дома, упирался в крошечный беленый гараж, как раз впору для бедняцкой автомашины Пнина. Странная корзинообразная сетка, похожая на многославные мешочки бильярдной лузы — впрочем, без доньшка, — подвешена была зачем-то над гаражной дверью, на белую плоскость которой она отбрасывала тень, столь же отчетливую, как сама сетка, только крупнее и голубее по тону. Фазаны забредали в заросли сорной травы между скалой и палисадником. И украшение русского сада, кусты сирени, чье весеннее великолепие — вся мед и гуд — мой бедный Пнин уже предвкушал, теснились тощими рядами вдоль стены. И высокое облетающее дерево, которое Пнин, человек березово-липово-ивово-осиново-тополево-дубовый, не умел опознать, отбрасывало большие, сердцевидные, ржавые листья и тени бабьего лета на деревянные ступени открытого крыльца. Видавшая виды печка на жидком топливе, стараясь изо всех сил, посылала вверх через заслонки в полу хилые струйки теплого воздуха из подвального помещения. Кухонька имела здоровый, жизнерадостный вид, и Пнин отлично проводил время, занимаясь всеми этими кухонными принадлежностями, чайниками и сковородками, тостерами и кастрюльками, которые все скопом перешли к нему в пользование вместе с домом. Гостиная была скудно и убого

обставлена, зато имела приятный круглый выступ с окном, давший приют огромному старому глобусу, на котором Россия была бледно-голубого цвета со счищенным пятном на месте Польши. В маленькой столовой, где Пнин собирался угощать своих гостей легким ужином, стояла пара хрустальных подсвечников с подвесками, благодаря которым в ранние утренние часы радужные зайчики восхитительно сияли на стенках буфета, напоминая моему сентиментальному другу зарешеченные веранды русских загородных домов, где цветные стекла окрашивали солнечный свет то в оранжевый, то в зеленый, то в фиолетовый. Посудный буфет дребезжал всякий раз, когда Пнин проходил мимо, и это тоже чем-то напоминало стершиеся из памяти тускло освещенные укромные комнаты его прошлого. На втором этаже было две спальных, каждая из которых служила когда-то обиталищем для множества маленьких детей и лишь изредка для кого-нибудь из взрослых. Полы тут были обшарпаны жестяными игрушками. Со стен той комнаты, которую он решил сделать своей спальней, Пнин открепил красный картонный флажок, на котором белой краской намалевано было загадочное слово "Кардиналы"; зато крошечной розовой качалке для трехлетнего Пнина он разрешил стоять в углу. Искалеченная швейная машина занимала коридорчик, который вел в ванную комнату, где для заполнения обычной коротенькой ванночки, которые производят для карликов в этой стране гигантов, требовалось столько же времени, сколько требуется для заполнения цистерн и чанов из учебника арифметики в русской школе.

Теперь он готов был устроить новоселье. В гостиной стоял диван, на который могли усесться трое, было еще два кресла с высокой спинкой, одно легкое кресло с чересчур усердно набитым сиденьем, стул с тростниковым сиденьем, один пуф и две скамеечки для ног. Проглядывая список своих гостей, он неожиданно испытал странное чувство неудовлетворенности. Народу набралось достаточно, но все вместе эти люди не составляли букета. Конечно же, ему страшно нравились Клементсы (настоящие люди — не то что большинство здешних манекенов), с которыми у него были такие волнующие разговоры в те дни, когда он снимал у них комнату; и конечно, он очень благодарен был Герману Гагену за многие добрые поступки вроде этого повышения жалованья, которое Гаген для него недавно выхлопотал; и конечно, миссис Гаген была, как говорили в Уэйнделе, "человек приятный"; и конечно, миссис Тэйер всегда так старалась помочь ему в библиотеке, а у ее мужа была такая умиротворяющая способность демонстрировать, как молчалив может быть мужчина, если он напроць воздерживается от комментариев по

поводу погоды. Однако в этом сочетании людей не было ничего необычного, ничего оригинального, и старому Пнину припомнились дни рождения из времен его детства — полдюжины приглашенных детей, как правило, отчего-то всегда одни и те же, и тесные ботинки и боль в висках, и какая-то тяжелая, несчастливая, сковывающая скука, которая на него наваливалась, когда во все игры уже было сыграно и озорной кузен начинал грубо и глупо глумиться над новыми чудными игрушками; и еще припомнился зуд одиночества в ушах во время затянувшейся игры в прятки^[85], когда, после часового сидения в неудобном тайнике, он вылез из темного и душного гардероба в комнате горничной и обнаружил, что все остальные уже разошлись по домам.

Наведываясь в знаменитую бакалейную лавочку между Изолой и Уэйнделвиллом, он встретил Кэти Кис, пригласил ее, и она сказала, что она помнит еще стихотворение в прозе Тургенева о розах с его припевом "Как horoshi, kak svezhi" (Как хороши, как свежи) и что она, конечно, придет с огромным удовольствием. Он пригласил известного математика профессора Идельсона с женой-скульпторшей, и они сказали, что придут с радостью, но потом позвонили и сказали, что ужасно сожалеют, но они совсем забыли, что уже были приглашены раньше. Он пригласил молодого Миллера, который был теперь адъюнктом, с его хорошенькой веснушчатой женой, но оказалось, что они со дня на день ждут рождения ребенка. Он пригласил старого Кэррола, главного дворника Фриз-Холла с его сыном Фрэнком, который был у моего друга единственным одаренным студентом и написал у него блестящую докторскую диссертацию о соотношении русских, английских и немецких ямбов; но Фрэнк был в армии, а старый Кэррол признался Пнину, что они с хозяйкой "не больно-то якшаются с профами". Он позвонил в резиденцию президента Пура, с которым ему довелось беседовать однажды (об усовершенствовании программы) во время какого-то приема на свежем воздухе до тех пор, пока не пошел дождь, и пригласил его в гости, но племянница президента ответила, что дядя "теперь ни к кому не ходит, за исключением нескольких близких людей". Он уже было совсем отказался от своей мысли оживить свой список приглашенных, когда вдруг совершенно новая и поистине замечательная идея пришла ему в голову.

Пниным, так же как и мной, давно уже был принят за аксиому тот вызывающий беспокойство, однако редко подвергающийся обсуждению факт, что какой бы вы ни взяли университет, в его штате непременно найдется не только человек, который будет невероятно схож с вашим дантистом или местным почтальоном, но и человек, у которого отыщется двойник здесь же, среди коллег. Я знаю даже случай сосуществования тройняшек в одном сравнительно небольшом колледже, где, по мнению его весьма наблюдательного президента Фрэнка Рида, корнем, извлекаемым из этой тройки, или ее коренником, служил, как это ни абсурдно, ваш покорный слуга; помнится, покойная Ольга Кроткая рассказывала мне как-то, что среди пятидесяти с малым преподавателей Школы ускоренного изучения языков, в которой этой бедной женщине, лишившейся одного легкого, довелось во время войны преподавать летейский и шамбальский, было целых шесть Пниных, не считая одного настоящего, а с моей точки зрения, и единственного в своем роде. Поэтому вовсе не следует удивляться, что даже Пнин, человек в повседневной жизни не слишком наблюдательный, все же не мог не осознать (примерно на девятом году преподавания в Уэйнделе), что долговязый очкастый пожилой малый с профессорскими прядями стальной седины, спадающими на правую сторону невысокого, однако изборожденного морщинами чела, и с глубокими бороздами, нисходящими по обе стороны его острого носа к углам его длинной верхней губы, — человек, которого Пнин знал как профессора Томаса Уойнэка, главу отделения орнитологии, и который затеял с ним как-то на вечеринке разговор о веселых золотых иволгах, о меланхолических кукушках и других птицах русской деревни, — что этот человек вовсе не при всякой встрече оказывался профессором Уойнэком. По временам он перевоплощался в кого-то другого, кому Пнин не знал наименования и кого он с типичным для иностранцев веселым пристрастьем к каламбурам обозначал как "Дуойника" (по-Пнински говоря, даже "Двойника"). Мой друг и соотечественник вскоре убедился, что никогда не смог бы наверняка сказать, действительно ли этот похожий на филина, быстро шагающий господин, чей маршрут через день пересекается с его собственным маршрутом в различных пунктах между кабинетом и аудиторией, между аудиторией и лестничной площадкой, между уборной и питьевым фонтанчиком, является шапочно знакомым ему орнитологом, с

которым он испытывает необходимость раскланиваться при встрече, или же это некий двойникоподобный незнакомец, который отвечает на его угрюмое приветствие с той же автоматической вежливостью, с какой ответил бы на него любой другой шапочно знакомый с ним профессор. Встреча их длилась всегда очень недолго, потому что оба, и Пнин, и Уойнэк (Дуойник), имели обыкновение шагать очень быстро; иногда Пнин, чтоб избежать обмена вежливым тьяканьем, притворялся, что читает на бегу какое-то письмо, или ухитрялся даже увернуться от быстро шагающего коллеги и мучителя, свернув на лестницу и продолжив свой путь этажом ниже; однако едва успел он возрадоваться своей хитрой уловке, как в один из дней нос к носу столкнулся с Двойником (или Войником), который тоже топал по нижнему коридору. Когда начался новый осенний семестр (для Пнина — десятый), неудобство это усугубилось еще тем, что у Пнина изменилось расписание и некоторые из маршрутов, которые позволяли ему избежать столкновения с Уойнэком и с тем, кто притворялся Уойнэком, оказались непригодными. Мучение это, казалось, никогда не кончится. Ибо, вспоминая о некоторых других двойниках, знакомых ему в прошлом, — обескураживающее их сходство было заметно ему одному, — Пнин озадаченно говорил себе, что бесполезно прибегать к чьей бы то ни было помощи, чтобы установить личность Т. Уойнэка.

В день новоселья в столовой Фриз-Холла, в то время как Пнин одним из последних доедал свой обед, Уойнэк, или его двойник — ни тот ни другой никогда здесь раньше не появлялись, — подсел вдруг к Пнину и сказал:

— Я давно хотел вас кое о чем спросить — вы ведь преподаете русский, верно? Прошлым летом я читал в одном журнале статью о птицах...

("Войник! Это Войник!" — сказал себе Пнин и тут же стал обдумывать план решительных действий.)

— ...так вот, автор этой статьи — уж не помню его фамилию, кажется, это была русская фамилия — упоминает, что в Скофском районе, надеюсь, я правильно произнес название, местные пироги выпекают в форме птиц. В основе своей это, конечно, фаллический символ, но я вот что хотел спросить: вы что-нибудь знаете про этот обычай?

Именно в этот миг и пришла в голову Пнину блестящая идея.

— Я к вашим услугам, сэр, — сказал он с возбужденной дрожью в горле, ибо он понял вдруг, какая ему представляется возможность пришить наверняка хотя бы того изначального Уойнэка, который был любителем птиц. — Да, сэр, мне все известно об этих zhavoronki, об этих

alouettes — мы можем посоветовать через словарь их английское название. А я воспользуюсь случаем распространять вам мое сердечное приглашение посещать у меня в сегодняшний вечер. В половине девятого post meridiem. [35] Небольшая вечеринка на случай домоселья, не более всего. Приводите свою благоверную — или у вас с ними птицелогическая несовместимость...

(Ох, уж этот каламбурист Пнин!)

Собеседник Пнина сказал, что он не женат. И что он с удовольствием придет. Какой адрес?

— Дом девятьсот девяносто девять по Тодд-родд, просто запоминать! Самый ни на есть конец Тоддродд, где она имеет свое соединение со Скальной айвенью. Мальюсинг кирпичный домик и громадинг черный скала.

Пнин едва дождался вечернего часа, когда уже можно было приниматься за кулинарные хлопоты. Он приступил к ним вскоре после пяти и оторвался ненадолго, чтоб к приходу гостей переодеться в сибаритскую, из синего шелка, с атласными обшлагами и поясом с кисточкой, домашнюю куртку, которую он выиграл в лотерею на эмигрантском благотворительном базаре в Париже двадцать лет тому назад — как все же летит время! Эту куртку он надел к старым штанам от смокинга, тоже еще европейского происхождения. Разглядывая себя в разбитом зеркале медицинского шкафчика, Пнин надел свои очки в черепаховой оправе, из-под седла которых приятно торчал его русский нос картошкой. Обнажил искусственные зубы. Обследовал щеки и подбородок, желая удостовериться, что результаты утреннего бритья еще ощутимы. Они были ощутимы. Указательным и большим пальцем Пнин прихватил длинный волосок, торчавший из ноздри, потянул его и после второго мощного усилия вырвал, потом чихнул сладострастно, округлив чох удовлетворенным вздохом — "Ах!".

В половине восьмого явилась Кэти, чтоб помочь ему с последними приготовлениями. Она теперь преподавала историю и английский в изольской средней школе. И она нисколько не переменилась с тех времен, когда была миловидной аспиранткой. Ее обведенные розовым близорукие глаза глядели на вас в упор с прежнею простосердечной симпатией. Все те же гретхеновские локоны окружали ее густоволосую голову. Все тот же шрам на ее нежной шее. Однако на ее пухлой ручке появилось теперь обручальное кольцо с малюсеньким бриллианчиком, и она со смущеньем и гордостью продемонстрировала его Пнину, который ощутил при этом смутный укол грусти. Он принялся вспоминать, что было время, когда он мог бы за ней поухаживать — и даже сделал бы это, не обладая она интеллектом горничной, и это ведь в ней тоже осталось без перемен. Она и сейчас могла завести долгую историю, построенную на бесконечных "а она говорит — а я говорю — а она говорит". Ничто на свете не смогло бы заставить ее усомниться в глубокоумии и остроумии ее излюбленного женского журнала. Она и сейчас проделывала все тот же забавный трюк — это практиковали и еще две-три молодые провинциалки из немногочисленных знакомых Пнина — надо легонько, замедленным жестом шлепнуть собеседника по рукаву в знак признания или, скорей,

чтоб наказать его за какую-то фразу, укоряющую ее в незначительном проступке: вы говорите ей, к примеру: "Кэти, ты забыла вернуть мне книгу" или "А мне казалось, Кэти, ты ни за что не хотела выходить замуж", и вот тогда, опережая ее ответ, он и последует, этот ее притворно-застенчивый жест: ручка отдергивается в тот самый миг, когда ее пухлые пальчики коснутся вашего запястья.

— Он биохимик, а теперь он в Питтсбурге, — сказала Кэти, помогая Пнину разложить ломтики французского хлеба с маслом вокруг баночки с лоснящейся серой свежей икрой, а также вымыть три огромные груды винограда. Пнин приготовил также большое блюдо холодного мяса, и настоящий немецкий Rumpfeni-skel, ^[36] и блюдо особого винегрета, где креветки водят соседство с огурчиками и горошком, и маленькие сосиски в томатном соусе, и горячие pirozhki (пирожки с грибами, пирожки с мясом, пирожки с капустой), и четыре сорта орехов, и всякие оригинальные восточные сласти. Напитки были представлены виски (принесла Кэти), гуабировка (рябиновым ликером), коктейлем из бренди с гренадином и, конечно, пнинским пуншем, крепкой смесью охлажденного вина "Шато ике", грейпфрутового сока и мараскина, которые хозяин уже начал торжественно сбивать в большой чаше из сверкающего аквамаринового стекла с орнаментом из переплетенных прожилок и листьев водяной лилии.

— О боже, что за прелестная вещь! — воскликнула Кэти.

Пнин оглядел чашу с радостным удивлением, так, словно видел ее впервые. Это, сказал он, подарок Виктора. Да, а как он, как ему нравится в Сейнт-Варфе? Ему нравится так себе. Начало лета он провел со своей матерью в Калифорнии, потом два месяца работал в "Иосемитском отеле" ^[86]. В чем? Отель в Калифорнийских горах. Ну а потом он вернулся к себе в школу и неожиданно прислал вот это.

Благодаря великодушному совпадению чаша пришла в тот самый день, когда Пнин, пересчитав стулья, начал намечать план своей вечеринки. Чаша была упакована в коробочку, находившуюся, в свою очередь, в другой коробке, а обе они — в третьей, к тому же чаша была завернута в бумагу и обложена непомерным количеством стружки, и то и другое разметалось потом по всей кухне, как карнавальная буря. Чаша, извлеченная на свет, была одним из тех подарков, первый взгляд на которые рождает в душе получившего этот дар некий многоцветный образ, некий смутный геральдический знак, с такой символической силой отражающий нежную душу дарителя, что осязаемые признаки этого предмета как бы растворяются в этом чистом внутреннем сиянье, однако они могут снова

вдруг и навеки вернуться в свою искристую вечность от похвалы постороннего, которому неизвестно, в чем истинная красота этого предмета.

Музыкальный перезвон перекатился в стенах крошечного домика, и вошли Клементсы с бутылкой французского шампанского и букетом крупных георгин.

Коротко подстриженная, с темно-синими глазами и длинными ресницами, Джоун надела свое старое черное шелковое платье, которое было элегантней, чем все наряды, которые умели изобрести факультетские дамы, и всегда приятно было видеть, как старый добрый лысый Тим Пнин склоняется, чтоб коснуться губами этой легкой руки, которую Джоун, одна из всех уэйндельских дам, умела поднять ровно на такую высоту, которая необходима, чтоб русский господин мог поцеловать ее. Располневший еще сильней и одетый в приятную серую фланель Лоренс опустил в легкое кресло и немедля сграбастал первую попавшую ему под руку книгу, которая оказалась англо-русским и русско-английским карманным словарем. Держа в руке очки, он глядел в пространство, пытаясь припомнить нечто такое, что ему всегда хотелось уточнить, однако сейчас он никак не мог вспомнить, что это было такое, и эта его нынешняя поза только подчеркивала его поразительное сходство, может чуть-чуть en jeune, [\[37\]](#) с толстощеким в пушистом нимбе Ван-Эйковым каноником [\[87\]](#) ван-дер-Пале, захваченным внезапным приступом рассеянности в присутствии озадаченной этим Девы, на которую некий статист, разодетый под Святого Георгия, стремится обратить внимание каноника. Все было сейчас то же — и узловатый висок, и грустный, задумчивый взгляд, складки и борозды мясистого лица, тонкие губы, и даже бородавка на левой щеке.

Едва Клементсы успели расположиться, как Кэти открыла дверь человеку, который проявлял интерес к пирогам, имеющим форму птиц. Пнин уже открыл рот, чтоб представить его: "Профессор Войник", когда Джоун — увы, это вышло, наверное, не вполне удачно — вмешалась в процедуру представления со своим "О, мы знаем Томаса! Кто же не знает Тома?". Тим Пнин вернулся на кухню, а Кэти обнесла всех болгарскими сигаретами.

— А я думал, Томас, — заметил Клементс, скрестив свои толстые ноги, — что ты уже в Гаване, интервьюируешь пальмолазящих рыбаков?

— Ну да, я и отправлюсь туда, но только во втором полугодии, — отозвался профессор Томас. — Конечно, большая часть полевой работы уже была там выполнена другими.

— И все же, наверно, приятно получить субсидию, правда?

— В нашей отрасли науки, — отозвался Томас с невозмутимым спокойствием, — нам приходится предпринимать немало трудных путешествий. Я ведь на самом деле, может, отправлюсь и дальше, до Наветренных островов^[88]. Если только, — добавил он с деланным смехом, — сенатор Маккарти^[89] не наложит лапу на заграничные путешествия.

— Он получил субсидию в десять тысяч долларов, — пояснила Джоун Кэти, чье лицо при этом сообщении как бы сделало реверанс, именно такое впечатление производила эта ее особая гримаска, заключающаяся в меренном полунаклоне головы, а также напряжении подбородка и нижней губы, что должно было автоматически выражать почтительное, одобряющее и даже отчасти благоговейное осознание ею всей важности того, что она, скажем, присутствует на обеде вместе с чьим-нибудь боссом, упомянутым в Who's Who,^[38] или представлена настоящей герцогине.

Тэйеры, приехавшие в своем новом микроавтобусе, подарили хозяину изящную баночку мятных лепешек, доктор Гаген пришел пешком, торжественно поднимая перед собой бутылку водки.

— Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, — сказал дружелюбный Гаген.

— Доктор Гаген, — сказал Томас, пожимая ему руку, — надеюсь, Сенатор не видел, как вы несете это в руке.

Добрый доктор заметно постарел с прошлого года, однако он был все еще такой же крепкий и квадратный, с основательно подбитыми плечами, квадратным подбородком, квадратными ноздрями, львиной переносицей и квадратной стрижкой седеющих волос, в которой было нечто от стрижки кустарников. Под черным костюмом на нем была одета белая нейлоновая рубашка с черным галстуком, который пересекала полоса красной молнии. Миссис Гаген не смогла прийти, так как в последний момент у нее, увы, разыгралась ужасная мигрень.

Пнин разносил коктейли — "которые, как он заметил со значением, лучше называть не "петушиными хвостами", а "хвостами фламинго", специально для орнитологов".

— Я вас благодарю! — пропела миссис Тэйер, принимая стакан и поднимая при этом свои прямые брови с той бодро-вопросительной миной, которая должна была выражать одновременно удивление, сознание того, что она не заслужила подобной чести, а также удовольствие. Вполне привлекательная, чопорная, розовощекая дама лет сорока с жемчужными

вставными зубами и волной позлащенных волос, она была провинциальная кузина элегантной и раскованной Джоун Клементс, которая объездила весь мир, жила даже в Турции и в Египте и была замужем за самым своеобразным и наименее любимым из здешних ученых. Следует сказать доброе слово также и о Рое, муже Маргарет Тэйер, печальном и молчаливом преподавателе с отделения английского языка, которое, если исключить его брызжущего энергией президента, представляло собой истинное гнездо ипохондриков. Внешне Рой являл собой фигуру весьма несложную для изображения. Если нарисовать пару ношенных коричневых туфель, две бежевые нашлепки на локтях, черную трубку, мешки под глазами и густые брови, остальное дополнить будет уже нетрудно. В некотором отдалении будет маячить еще смутная боль в печени, а где-то на горизонте — поэзия XVIII века, собственное его поле деятельности, сильно уже потравленное пастбище, с почти пересохшим ручейком и купой деревьев, уже обозначенных чьими-то инициалами, отгороженное с двух сторон колючей проволокой — от владений профессора Стоу, а именно: предыдущего века, где барашки были побелей, трава погуще, а ручеек побойчее, и от раннего девятнадцатого века доктора Шапиро, где были смутные доли, морские туманы и привозные заморские грозди винограда. Рой Тэйер избегал разговоров о своем предмете, избегал, по существу, разговоров о любом предмете, промотав уже десятилетие своей серой жизни над ученым трудом, посвященным забытой группе никому на свете не нужных рифмоплетов, ведя при этом вдобавок подробный и зашифрованный стихотворный дневник, который, как он надеялся, потомство расшифрует когда-нибудь и с трезвой дистанции объявит величайшим поэтическим достижением нашего времени — и, насколько я понимаю, ты можешь оказаться прав, Рой Тэйер.

Когда все, устроившись поудобнее, стали прихлебывать и похваливать коктейли, профессор Пнин, опустившись на дряхлый пуф рядом со своим новоприобретенным другом, сказал:

— Я имею доклад, сэр, о жаворонках (zhavoronok по-русски), о которых вы сделали мне честь меня допрашивать. Возьмите вот это с вами в ваш дом. Я здесь отпечатывал на пишущей машинке сконцентрированный отчет с библиографией. Я думаю, что теперь мы переместим себя в другую комнату, где ужин *a la fourchette* нас уже, я думаю, ожидает.

А вскоре гости с полными тарелками вернулись в гостиную. Был подан пунш.

— Боже милосердный, Тимофей, да где вы только добыли эту совершенно божественную чашу? — воскликнула Джоун.

— Виктор мне ее подарил.

— Он-то где смог раздобыть такую?

— В антиквариаторной лавочке, полагаю, в Крэнтоне.

— Боже, да она ведь должна стоить кучу денег.

— Доллар? Десять долларов? Может, меньше?

— Десять долларов — что за вздор! Две сотни, пожалуй. Да вы только взгляните! Взгляните на этот прелестный узор. Знаете, вы должны показать ее Кокарекам. Они все знают про старое стекло. У них, кстати, есть данморский кувшин, который рядом с этой чашей выглядит просто как бедный родственник.

Маргарет Тэйер, полюбовавшись в свою очередь и восхитившись чашей, сказала, что, когда она была маленькая, она воображала, что стеклянные туфельки у Золушки были точь-в-точь из такого же вот зеленовато-синего стекла; на что профессор Пнин заметил, что, *primo*, он хотел бы, чтобы каждый сказал ему, было ли содержимое достойно сосуда, и что, *secundo*, туфельки у Золушки были вовсе не из стекла, а из меха русской белки — по-французски *voir*^[90]. Это, сказал он, наглядный случай того, как выживает наиболее подходящее слово а именно *verre*, как более восхищательное и вызывательное, чем *voir*, которое, как он позволил себе указать, происходило не от *varius*, что значит пестрый, а от *veveritsa*^[91], славянского названия определенного сорта красивого светлого меха зимней белочки, имеющего синеватый или, лучше сказать, *sizïu*. колумбино-голубиный оттенок, — происходит от "*columba*", что, как все здесь хорошо знают, означает на латыни "голубь" — так что, как видите, миссис Файэр, вы были в общем или целом правильны.

— Содержание отличное, — сказал Лоренс Клементс.

— Напиток просто упоительный, — сказала Маргарет Тэйер.

("Я всегда полагал, что "колумбины" — это какой-то сорт цветов"^[92], — сказал Томас, обращаясь к Кэти, и она выразила свое согласие легким кивком.)

Затем были подвергнуты рассмотрению возрастные показатели

некоторых детей. Виктору скоро будет пятнадцать. Эйлин, внучке старшей сестры миссис Тэйер, исполнилось пять. Изабел двадцать три, и ей очень нравится ее секретарская работа в Нью-Йорке. Дочке доктора Гагена двадцать четыре, и она должна вот-вот вернуться из Европы, где она провела восхитительное лето, путешествуя по Баварии и Швейцарии в обществе очень любезной пожилой дамы Дорианны Карен¹⁹³¹, знаменитой кинозвезды двадцатых годов.

Зазвонил телефон. Кто-то желал побеседовать с миссис Шепард. С пунктуальностью, совершенно для него в подобных делах необычайной, непредсказуемый Пнин не только пророкотал в трубку новый адрес и номер телефона этой дамы, но и сообщил также телефон и адрес ее старшего сына.

К десяти часам, благодаря пнинскому "пуншу" и Кэтиному шотландскому виски, многие из гостей стали говорить громче, чем им казалось. Алая краска разлилась по шее миссис Тэйер с левой стороны, ниже синей звездочки серьги, и она, сидя очень прямо в кресле, посвятила хозяина дома во все детали распри между двумя ее коллегами по библиотеке. Это была обычная учрежденческая история, однако искусное подражание голосам мисс Визг и мистера Бассо в рассказе миссис Тэйер, а также сознание, что вечеринка его проходит весьма мило, так подействовали на Пнина, что он стал восторженно хохотать, низко наклоняя при этом голову и прикрывая рот ладонью. Рой Тэйер вяло подмигивал самому себе, глядя на "пунш" поверх своего пористого носа, и вежливо слушал, что говорит ему Джоун Клементс, у которой, когда она была слегка навеселе, как теперь, появлялась очаровательная привычка быстро-быстро моргать своими черными ресницами, а то и вовсе прикрывать ими свои синие глаза, а также прерывать фразы — чтоб подчеркнуть отдельные смысловые группы, а скорей, просто для того, чтоб собраться с силами — глубокими охающими вздохами: "Но не кажется ли тебе — хоо — что то, чего он добивается — хоо — почти во всех своих романах — хоо — это — хоо — выражение фантастической повторяемости определенных ситуаций?" Кэти сохраняла присутствие своего крошечного духа и умело заботилась о закусках. В углубление комнаты Клементс мрачно крутил медлительный глобус, слушая, как Гаген, тщательно избегая бытовых интонаций, к которым он прибег бы в более близкой по духу компании, рассказывал ему и ухмылявшемуся Томасу последние сплетни о миссис Идельсон, полученные миссис Гаген от миссис Блорендж. Пнин подошел к ним с тарелкой нуги.

— Это не совсем для ваших целомудренных ушей, Тимофей, — сказал Гаген Пнину, который всегда признавался, что не видит ничего смешного в "скаброузных анекдотах".

— Но ведь я...

Клементс ушел к дамам. Гаген начал рассказывать всю историю заново, а Томас стал заново ухмыляться. Пнин сделал в сторону рассказчика возмущенный русский ("да ну вас совсем") жест и сказал:

— Я услышал совершенно тот же анекдот тридцать пять лет тому назад в Одессе, и даже тогда я не мог понимать, что в нем есть смешного

На еще более поздней стадии вечера имели место новые перегруппировки. В уголке тахты сгущающиеся Клементсы листали теперь альбом "Фламандские шедевры", подаренный Виктору его матерью и оставленный им у Пнина. Джоун сидела у мужнина колена на маленьком стульчике с тарелкой винограда в подоле своей широкой юбки, прикидывая, когда можно будет уже уйти, не обидев этим Тимофея. Остальные слушали рассуждение Гагена о современном образовании.

— Вы можете смеяться, — сказал он, бросив сердитый взгляд на Клементса, который покачал головой, отвергая это обвинение, а потом передал Джоун альбом, показывая ей то, что вызвало у него столь неожиданный приступ веселья.

— Вы можете смеяться, но я утверждаю, что единственный способ избегать из этой трясины — мне капельку, Тимофей, достаточно — это запирает этого студента в звуконепроницаемой камере и вовсе отказаться от лекций.

— Да, точно, — сказала Джоун, возвращая мужу альбом.

— Я рад, что ты есть согласна, Джоун, — сказал Гаген. — Однако я был назван *enfant terrible*^[39] за то, что развивал эту теорию, и вы, возможно, не будете так легко со мной соглашаться, если будете выслушивать до конца. Записи на фонографе по всем возможным темам будут в распоряжении этого изолированного студента...

— Но как же индивидуальность лектора, — сказала Маргарет Тэйер. — Она ведь тоже что-нибудь значит.

— Не значит! — вскричал Гаген. — И это есть трагедия! Кому, например, нужен он, — Гаген указал на сияющего Пнина, — кому нужна его индивидуальность? Никому! Они, не дрогнув, откажутся от замечательной индивидуальности Тимофея. Миру нужна машина, а не Тимофей.

— Тимофея можно было бы показывать по телевидению, — сказал Клементс.

— О, это было бы славно, — сказала Джоун, улыбнувшись хозяину, и Кэти энергично закивала.

Пнин глубоко поклонился, разведя руками ("ваш покорный слуга").

— А вы что думаете об этом предложении? — спросил Гаген у Томаса.

— Я могу сказать вам, что думает Том, — вмешался Клементс, все еще

разглядывая картинку в раскрытой книге, лежавшей у него на коленях. — Том думает, что наилучший способ преподавать что бы то ни было — это положиться на дискуссию в группе, то есть предоставить двадцати юным болванам и двум нахальным невротикам пятьдесят минут спорить о чем-нибудь, о чем ни их преподаватель, ни они сами не имеют понятия. Так вот, последние три месяца, — продолжал он без всякого логического перехода, — я искал эту картину — и вот она. Издатель моей новой книги по философии жеста хотел, чтоб я дал ему свой портрет, а мы с Джоун помнили, что у кого-то из старых мастеров мы видели портрет, имеющий со мной поразительное сходство, но только мы не могли вспомнить, чей и даже какой это период. Ну, так вот он здесь. Единственное, что им придется подретушировать, так это одежду — добавить спортивную рубашку и стереть эту вот руку воина.

— Я должен возразить со всей решительностью, — начал Томас.

Клементс передал открытую книгу Маргарет Тэйер, и она расхохоталась.

— Я должен возразить, Лоренс, — сказал Томас. — Непринужденная дискуссия в атмосфере широких обобщений является более реалистическим подходом к образованию, чем старомодная формальная лекция.

— Конечно, конечно, — сказал Клементс.

Джоун с трудом поднялась на ноги и накрыла свой стакан узкой ладонью, когда Пнин захотел снова его наполнить. Миссис Тэйер взглянула на свои ручные часы, потом на мужа. Кэти спросила у Томаса, не знает ли он человека по фамилии Фогельман^[94], который был специалистом по летучим мышам и жил в Санта-Кларе, на Кубе. Гаген попросил дать ему стакан воды или пива. "Кого же он мне напоминает? — подумал вдруг Пнин. — Эрика Финта? Но почему? Ведь внешне они совсем не похожи".

Место действия последней сцены — прихожая. Гаген не мог найти свою трость (она завалилась за ящик в стенном шкафу).

— А вот мне кажется, я оставила свой кошелек там, где сидела, — сказала миссис Тэйер, слегка подталкивая своего задумчивого мужа к дверям гостиной.

Пнин и Клементс, продолжая завязавшийся в последнюю минуту разговор, стояли по обе стороны двери, как две упитанные кариатиды, и обоим пришлось втянуть животы, чтобы пропустить бессловесного Тэйера. Посреди комнаты профессор Томас и мисс Кис — он, держа руки за спиной, время от времени поднимался на цыпочки, она держала в руках поднос — говорили о Кубе, где кузен ее жениха жил, насколько она смогла понять, уже довольно долго. Тэйер слонялся от одного стула к другому, пока не обнаружил наконец, что у него в руках какая-то белая сумка, хотя он не смог бы точно сказать, где он ее подобрал, потому что голова его была занята черновыми набросками строк, которые ему предстояло записать этой ночью:

"Мы сидели, мы пили, и в каждом запрято было его собственное минувшее, и на какой-то обочинный будущий час был поставлен будильник судьбы — когда вдруг, наконец, петухом у запястья пропело, и сожителей встретились взгляды..."^[95]

А тем временем Пнин спросил у Джоун Клементс и Маргарет Тэйер, не желают ли они взглянуть, как он украсил верхние комнаты. Предложение показалось им соблазнительным. Он шел впереди, указывая путь. Его так называемый *kabinet* имел теперь вид весьма симпатичный, исцарапанный пол его был уютно прикрыт более или менее пакистанским ковриком, который он приобрел когда-то для своего бюро в Уэйнделе и который недавно с безмолвной решимостью вырвал из-под ног изумленного Фальтернфельса. Шотландский плед, под которым он проделал путешествие из Европы через океан в 1940 году, и несколько эндемичных подушечек преобразили здешнюю незаменимую кровать. Розовые полки, которые до его переезда несли на плечах сразу несколько поколений детских книг — от "Тома — маленького чистильщика сапог, или Дороги к успеху" Хорейшо Элджера Младшего^[96], год 1889-й, к "Рольфу в лесах"^[97] Эрнеста СетонаТомпсона, год 1911-й, и вплоть до десяти томной "Комптоновской энциклопедии в картинках"^[98] издания 1928 года с

маленькими мутными фотографиями, — полки эти приняли на себя тяжесть трехсот шестидесяти пяти книг из Уэйндельской университетской библиотеки.

— Подумать только, что все их мне пришлось штемпелевать, — вздохнула миссис Тэйер, закатив глаза в шутливом отчаянье.

— Некоторые штемпелевала миссис Миллер, — сказал Пнин, строгий поборник исторической правды.

Однако больше всего в пнинской спальне ее посетительниц поразил огромный отдергивающийся занавес, загораживавший эту кровать о четырех столбах от всех предательских сквозняков, а заодно и от пейзажа, который открывался через вереницу маленьких окошек: черная скальная стена, круто вздымавшаяся к небу в пятидесяти футах от дома, и полоска бледного звездного неба над черной порослью, покрывавшей вершину скалы. Лоренс пересек светлое оконное отражение на задней лужайке и ушел в тень.

— Наконец-то вы устроены удобно, — сказала Джоун.

— И вы знаете, что я буду сказать вам, — произнес Пнин заговорщицким голосом, дрожавшим от торжества. — Завтра утром, под покровом тайнинг, я буду повстречать джентльмена, который желает помочь мне этот дом купить!

Они спустились вниз. Рой вручил жене сумочку Кэти. Герман нашел свою трость. Искали сумочку Маргарет. Снова появился Лоренс.

— До свиданья, до свиданья, профессор Войник! — напевно проговорил Пнин, и фонарь над крыльцом осветил его круглые, румяные щеки.

(Еще в передней Кэти и Маргарет повосхищались тростью профессора Гагена, который ей так гордился и которую ему недавно прислали из Германии, — сучковатой палкой с набалдашником в виде ослиной головы. Ослиная голова могла шевелить одним ухом. Трость принадлежала баварскому дедушке доктора Гагена, сельскому пастору. Согласно записке, оставленной пастором, механизм второго уха был поврежден в 1914 году. Гаген, как он объяснил, носил эту трость затем, чтоб защищаться от восточно-европейской овчарки на Зеленолужской улице. Американские собаки не есть привычные к пешеходам. Он всегда предпочитал хождение езде. Ухо не может исправляться. Во всяком случае, в Уэйнделе.)

— Я все-таки не понимаю, почему он меня так назвал, — сказал Лоренсу и Джоун Клементсам профессор антропологии Т. У. Томас, когда они шли вместе через синюю мглу к четырем автомобилям, запаркованным на другой стороне улицы.

— Наш друг, — ответил Клементс, — пользуется своей собственной номенклатурой имен. Его словесные причуды придают жизни новый волнующий привкус. Его фонетические ошибки мифотворны. Его оговорки пророчат. Мою жену он зовет Джон.

— И все же меня это несколько встревожило, — сказал Томас.

— Он, вероятно, принял вас за другого человека, сказал Клементс. — И как знать, может, вы и впрямь другой человек.

Посреди улицы их настиг доктор Гаген. Профессор Томас покинул их, имея вид все еще весьма озадаченный.

— Ну вот, — сказал Гаген.

Была прекрасная осенняя ночь, бархат внизу, сталь в вышине.

Джоун спросила:

— Вы и правда не хотите, чтоб мы вас подвезли?

— Тут всего десятиминутная прогулка. А прогулка есть просто необходимость в такую прекрасную ночь.

Они с минуту постояли втроем, глаза на звезды.

— Это все суть мира, — сказал Гаген.

— Или, — сказал Клементс, зевая, — просто ужасающий кавардак. Подозреваю, что это на самом деле какой-то светящийся труп, а мы все внутри его.

С освещенного крыльца донесся сочный смех Пнина, который рассказал Тэйерам и Кэти Кис, как ему тоже однажды была возвращена чужая сумка.

— Пошли, мой светящийся труп, надо ехать, — сказала Джоун. — Рада была тебя видеть, Герман. Передавай привет Ирмагд. Что за чудная вечеринка. Никогда не видела Тимофея таким счастливым.

— Да, благодарю вас, — рассеянно отозвался Гаген.

— Надо было видеть его лицо, — сказала Джоун, — когда он сообщил нам, что завтра встретится с торговцем недвижимостью по вопросу покупки этого райского дома.

— Он сказал? Вы уверены, что именно так сказал? — быстро спросил Гаген.

— Конечно, уверена, — сказала Джоун. — И уж если кому-нибудь дом нужен, так это, конечно, Тимофею.

— Что ж, спокойной ночи, — сказал Гаген. — Рад, что вы смогли приходить. Спокойной ночи.

Он дождался, пока они дойдут до своей машины, и после некоторого колебания повернул назад, к освещенному крыльцу, где, стоя, как на сцене, Пнин во второй или в третий раз пожимал руки Тэйерам и Кэти.

("Я б никогда, — сказала Джоун, подавая машину задом и крутя баранку, — никогда не позволила бы своей дочке уехать за границу с этой старой лесбианкой". — "Потише, — сказал Лоренс. — Он, может, и пьян, но он еще недостаточно далеко".)

— Никогда вам не прощу, — сказала Кэти веселому хозяину, — что вы мне не позволили помыть посуду.

— Я ему помогу, — сказал Гаген, поднимаясь по ступенькам и стуча по ним тростью. — А вы, детки, разбегайтесь по домам.

Пнин в последний раз пожал им руки, и Тэйеры с Кэти ушли.

— Во-первых, — сказал Гаген, когда они вернулись в гостиную, — я, полагаю, должен выпивать вместе с вами последний стакан вина.

— Отлично. Отлично! — воскликнул Пнин. — Давайте прикончим мой стакан.

Они уселись поудобнее, и доктор Гаген сказал:

— Ты замечательный хозяин, Тимофей. Это очень прекрасный момент. Мой дедушка говаривал, что стакан доброго вина надо всегда так попивать и смаковать, как будто это есть твой последний стакан перед казнью. Я интересуюсь, что ты клал в этот пунш. Я также интересуюсь, правда ли, как утверждает наша очаровательная Джоун, ты рассматриваешь план купить этот дом?

— Не то чтобы рассматривать, но немножко подсматриваю, какие возможности, — ответил Пнин с гортанным смешком.

— Я сомневаюсь в мудрости этого, — сказал Гаген, поглаживая стакан.

— Естественно, я жду, что я получу наконец постоянное место, — довольно хитро заметил Пнин. — Я теперь девять лет ассистент. Годы бегут. Скоро я буду заслуженный ассистент в отставке. Почему вы молчите, Гаген?

— Ты помещаешь меня в очень неловкое положение, Тимофей. Я надеялся, что ты не будешь поднимать именно этот вопрос.

— Я не поднимаю этот вопрос. Я говорю, что я только ожидаю — о, пусть не в следующем году, но, скажем, подавая вас какой-нибудь пример, на сотую годовщину Освобождения Рабов — Уэйндел меня сделает адъютантом.

— Ну, видишь ли, дорогой мой друг, я должен рассказать тебе один печальный секрет. Это еще не официально, и ты должен обещать никому не упоминать про это.

— Клянусь, — сказал Пнин, поднимая руку.

— Ты не можешь не иметь знание, — продолжал Гаген, — с каким любовным старанием я создал наше замечательное отделение. Я тоже больше не молодой. Ты сказал, Тимофей, что ты проводил здесь уже девять лет. Но я отдавал себя все этому университету уже двадцать девять лет! Мое скромное все себя. Как мой друг доктор Крафт писал мне однажды: ты, Герман Гаген, один сделал больше для Германии в Америке, чем все

наши миссии сделали в Германии для Америки. И что теперь случается? Я взлелеял этого Фальтернфельса, этого дракона, на своей груди, а он теперь занимал собой ключевые позиции. Я щажу тебя от всех подробностей этой интриги!

— Да, — сказал со вздохом Пнин, — интрига ужасна, ужасна. Но, с другой стороны, честный труд всегда докажет свои преимущества. Мы с тобой будем читать на будущий год замечательные новые курсы, которые я уже давно замыслил. О Тирании. О Сапоге. О Николае Первом. О всех предтечах современной жестокости. Когда мы говорим о несправедливости, Гаген, мы забываем об армянской резне, о пытках, которые изобрел Тибет, о колонизаторах в Африке... История человека — это история боли!

Гаген наклонился к своему другу и похлопал его по шишковатому колену.

— Ты замечательный романтик, Тимофей, и при более счастливых обстоятельствах... Однако я могу рассказать тебе, что в весеннем семестре мы действительно собираемся создать нечто необычное. Мы собираемся поставить Драматическую программу — сцены от Коцебу^[99] до Гауптмана^[100]. Я вижу в этом некий апофеоз... Но не будем забегать вперед. Я тоже есть романтик, Тимофей, и потому я не могу работать с такими людьми, как Бодо, хотя этого хотят от меня попечители. Крафт в Сиборде уходит в отставку, и мне было сделано предложение, чтоб я его заменил начиная со следующей осени.

— Мои поздравления, — тепло сказал Пнин.

— Спасибо, мой друг. Это действительно очень хорошее и видное положение. Я буду применять к более широкому научному и административному полю тот бесценный опыт, который я здесь приобрел. Конечно, поскольку я знаю, что Бодо не будет тебя продолжать на немецком отделении, мой первый шаг был предложить тебе ехать со мной, но они говорят, что у них в Сиборде достаточно славистов и без тебя. Тогда я поговорил с Блоренджем, но французское отделение здесь тоже заполнено. Это не так удачно, потому что Уэйндел находит слишком обременительно в финансах, чтобы платить тебе за два или три русских урока, которые перестали привлекать студентов. Политические течения в Америке, как мы все знаем, не поощряют интерес русских вещей. С другой стороны, тебе будет доставлять радость узнавать, что английское отделение приглашает одного из самых блестящих твоих соотечественников, это действительно увлекательный лектор — я его слушал однажды; я думаю, он есть твой старый друг.

Пнин прочистил горло и спросил:

— Этим обозначается, что они меня увольняют?

— Ну, не воспринимай это так тяжело, Тимофей. Я уверен, что твой старый друг...

— Кто старый друг? — осведомился Пнин, сузив глаза.

Гаген назвал имя увлекательного лектора.

Наклонившись вперед, упершись локтями в колени, то сжимая, то разжимая при этом кисти рук, Пнин сказал:

— Да, я знаю его тридцать лет или больше. Мы друзья, но одно совершенно определено. Я никогда не буду у него работать.

— Ну, я думаю, на этом ты должен идти засыпать. Вероятно, какое-нибудь решение может находиться. Во всяком случае, у нас будет достаточная возможность обсуждать эти дела. Мы будем просто продолжать преподавание, ты и я, как будто ничего не случилось, *nicht war?*

[\[40\]](#) Мы должны быть храбрыми, Тимофей!

— Значит, они меня вышибали, — сказал Пнин, сжимая пальцы рук и без конца кивая головой.

— Да, мы с тобой в одной беде, в одной беде, — сказал жизнерадостный Гаген и встал. Было уже очень поздно.

— Теперь я иду, — сказал Гаген, который хоть и был меньшим приверженцем глаголов настоящего времени, чем Пнин, но тоже отдавал им предпочтение. — Это был замечательный вечер, и я никогда не позволял бы себе портить веселья, если бы наш общий друг не информировал меня о твоих оптимистических планах. Доброй ночи. Да, между прочим... Естественно, ты полностью получишь твоё жалованье за осенний семестр, а потом мы посмотрим, что еще можно будет тебе доставать в весеннем семестре, особенно если ты согласишься снимать некоторые глупые канцелярские обязанности с моих старых бедных плеч, а также если ты будешь участвовать энергично в Драматической программе, в Новом Зале. Я думаю, тебе даже следовало бы играть какую-нибудь драматическую роль под руководством моей дочери: это отвлекало бы тебя от грустных мыслей. А сейчас сразу иди в постель и усыпляй себя какойнибудь хорошенькой страшной историей.

На крыльце он сжал безответную руку Пнина с силой, которой хватило бы на двоих. Потом взмахнул своей тростью и весело зашагал вниз по деревянным ступенькам.

Занавешенная дверь хлопнула за его спиной.

"Der arme Kerl, [\[41\]](#) — пробурчал себе под нос добросердечный Гаген,

шагая к дому. — Во всяком случае, я позолотил ему дер пилюль".

Пнин собрал с буфета и со стола грязную посуду, ложки, ножи и вилки и снес их в кухонную раковину. Оставшуюся еду он сунул в яркий арктический свет холодильника. Ветчина и язык исчезли, как, впрочем, и маленькие сосиски; однако винегрет не пользовался успехом, а также остались на завтра икра и пирожки с мясом, чтобы подкрепиться раз или два. "Бум-бум-бум", — сказал буфет, когда Пнин проходил мимо него. Он оглядел гостиную и начал уборку. В красивой чаше блистала последняя капля пнинского пунша. Джоун придавила в своем блюдечке измазанный помадой окурок; Кэти не оставила от себя никаких следов и снесла все стаканы в кухню. Миссис Тэйер оставила на своей тарелке, рядом с кусочком нуги, книжечку симпатичных разноцветных спичек. Мистер Тэйер, скрутив полдюжины бумажных салфеток, придал им какие-то причудливые очертания; Гаген загасил грязную сигару в нетронutom блюде виноградных гроздей.

Перейдя на кухню, Пнин изготoвился к мытью посуды. Он снял шелковую куртку, галстук и зубные протезы. Чтобы не испачкать грудь сорочки и брюки от смокинга, он надел пестрый субреточный фартук. Соскреб с тарелок в коричневый бумажный пакет всякие лакомые объедки, чтоб отдать их при случае запаршивевшей белой собачонке с розовыми пятнами на спине, которая прибежала иногда в послеобеденное время — нет смысла в том, чтобы она лишалась своих собачьих радостей по причине человеческого несчастья.

В раковине Пнин приготовил пузырчатую ванну для посуды, ножей и вилок, потом с бесконечной осторожностью опустил в эту теплую пену аквамаиновую чашу. При погружении звонкий английский хрусталь издал приглушенный и мягкий звон. Ополоснув янтарные стаканы, ножи и вилки под краном, он опустил их в пену. Потом выудил оттуда ножи, вилки и ложки, ополоснул их и стал вытирать. Работал он очень медленно, с каким-то отсутствующим видом, что в человеке менее методическом могло быть принято за некоторую рассеянность. Он собрал вытертые ложки в букет, поставил их в кувшин, который он предварительно вымыл, но не протер насухо, потом вынул их одну за другой и протер заново. Потом стал шарить под пенной поверхностью, среди стаканов, под мелодичною чашей, ища, не осталось ли там ножей или вилок, — и извлек щипцы для орехов. Дотошный Пнин ополоснул щипцы и уже начал их протирать, когда эта

ногастая штука вдруг каким-то непонятным образом выскользнула из полотенца и стала падать вниз, как человек, сорвавшийся с крыши. Пнин почти что успел изловить щипцы — его кончики пальцев успели коснуться их на лету, но это лишь точнее направило их полет к пенной поверхности, скрывавшей сокровища, оттуда тотчас же за всплеском раздался душераздирающий треск разбитого стекла.

Пнин отшвырнул полотенце в угол и, отвернувшись, стоял какое-то мгновение, глядя в черноту за порогом распахнутой кухонной двери. Крошечная зеленая букашка с кружевными крылышками беззвучно летала вокруг ослепительной голой лампочки над блестящей лысой головой Пнина. Он выглядел сейчас очень старым, с его полуоткрытым беззубым ртом и пеленою слез, замутивших невидящий, немигающий взгляд. Наконец, со стоном болезненного предчувствия, он повернулся к раковине и, набравшись духу, глубоко погрузил руку в мыльную пену. Укололся об осколок стекла. Осторожно вынул разбитый стакан. Прекрасная чаша была цела. Он взял чистое кухонное полотенце и снова взялся за свою работу.

Когда все было перемыто и протерто, и чаша стояла отрешенная и безмятежная, на самой недоступной из буфетных полок, и маленький нарядный домик был надежно заперт в огромной черной ночи, Пнин уселся за кухонный стол и, достав из ящика лист желтой почтовой бумаги, отвинтил колпачок авторучки и принялся сочинять черновик своего письма.

"Дорогой Гаген, — писал он своим четким и твердым почерком, — разрешите мне резюмировать (вычеркнуто) резюмировать разговор, который мы имели вчера. Он, я должен признаться, несколько меня удивлял. Если я имел честь вас правильно понимать, вы сказали..."

ГЛАВА 7

Мое первое воспоминание о Тимофее Пнине связано с угольной соринкой, которая попала мне в левый глаз весенним воскресным днем 1911 года.

Был один из тех суровых, ветреных и блистающих петербургских дней, когда последний прозрачный осколок ладожского льда уже унесен Невой в залив, а ее индиговые волны вздымаются и плещут в гранитную набережную, а буксиры и огромные баржи, стоящие вдоль пристаней, ритмично скрипят и скребутся о бревна причала, а медь и красное дерево на яхтах, стоящих на якоре, сияют под привередливым солнцем. Я объезжал свой новый красивый английский велосипед, подаренный мне на двенадцатый день рождения, и, когда, возвращаясь домой, мчался к нашему розовокаменному дому на Морской^{101} по паркетно-гладкой деревянной брусчатке, угрызения совести, оттого что нарушил я, и весьма серьезно, запрет моего гувернера, беспокоили меня меньше, чем это зернышко острой боли на крайнем севере глазного яблока. Домашние средства, вроде ватки, смоченной холодным чаем, и заклинанья "tri-k-nosu" (три к носу), только делали хуже; и когда я проснулся на завтра, то предмет, затаившийся где-то под верхним веком, казался мне жестким многоугольником, зарывавшимся в глаз все глубже каждый раз, когда я многослезно мигал. После обеда меня повели к знаменитому офтальмологу доктору Павлу Пнину.

Одна из тех глупых случайных сценок, которые на всю жизнь врезаются в восприимчивый детский мозг, разыгралась за краткое время, что гувернер мой и я провели в пронизанной солнечным пыльным лучом плюшевой приемной доктора, где уменьшенный синий квадрат окна отражался в стеклянном куполе золоченых бронзовых часов над камином и две мухи совершали неторопливый угловатый облет безжизненной люстры. Какая-то дама в шляпке с пером и ее муж в темных очках сидели на кушетке, сохраняя супружеское молчанье; вошел кавалерийский офицер и сел у окна с газетой; потом муж удалился в кабинет доктора Пнина; и тогда я заметил странное выражение на лице моего гувернера.

Неповрежденный мой глаз проследил за его взглядом. Офицер наклонялся к даме. На беглом французском он упрекал ее в чем-то, что она совершила накануне или, напротив, не совершила. Она протянула для поцелуя руку, обтянутую перчаткой. Он прильнул губами к просвету в коже

— и тотчас ушел, исцеленный от своего — каким бы он ни был — недуга.

Мягкостью черт, массивностью туловища, худобой ног, обезьяньим очерком уха и верхней губы доктор Павел Пнин представлял собой внешне подобие Тимофея, такого, каким его сын стал три или четыре десятилетия спустя. У отца, однако, соломенная прядка волос оживляла восковую лысину: он носил пенсне в черной оправе на черной ленточке, как покойный доктор Чехов; его мягкая, с легким заиканием речь вовсе не была похожа на то, как говорил позднее его сын. И что за божественное облегчение я испытал, когда крошечным инструментом, похожим на барабанную палочку эльфа, нежный Доктор убрал из моего глаза причинявший мне боль черный атом! Интересно, где она теперь, та соринка? Какой до безумья унылый факт, что она все еще существует где-то!

Может, оттого, что, посещая своих одноклассников, я уже видел и другие квартиры людей зажиточных, я невольно сохранил в памяти образ пнинской квартиры, который, вероятно, соответствует подлинному. А потому могу доложить с большею или меньшею точностью, что она состояла из двух рядов комнат, разделенных длинным коридором; по одну сторону находились приемная и кабинет доктора, дальше, вероятно, столовая и гостиная; а по другую сторону были две или три спальных, классная комната, ванная, комната прислуги и кухня. Я уже собирался уйти с флаконом глазных капель, а гувернер мой, воспользовавшись случаем, выспрашивал у доктора Пнина, может ли глазная усталость приводить к желудочному расстройству, когда входная дверь квартиры открылась и закрылась снова. Доктор Пнин быстро вышел в прихожую, о чем-то спросил, получил тихий ответ и вернулся с сыном Тимофеем, тринадцатилетним *gimnazist* (учеником классической школы) в *gimnazicheskiy* форме — черная блуза, черные брюки, сверкающий черный ремень (сам я посещал более либеральную школу, где нам позволяли носить что вздумается).

Неужто и впрямь я помню его короткую стрижку, его пухлое бледное лицо, его красные уши? Да, и очень отчетливо. Я даже помню движение, которым он едва приметно освободил плечо из-под гордой отцовской руки, в то время как гордый отцовский голос сообщал: "Этот мальчик только что получил пять с плюсом (A+) за экзамен по алгебре". Из дальнего конца коридора доходил устойчивый запах пирога с капустой, а через открытую дверь классной комнаты я мог видеть карту России на стене, книги на полке, чучело белки, а также игрушечный аэроплан с матерчатыми крыльями и резиновым двигателем. У меня был такой же, только вдвое

большого размера, купленный в Биаррице. Если долгое время крутить пропеллер, то резинка переставала закручиваться ровно и на ней вздувались чудесные толстые ролики, предупреждавшие, что завод кончается.

Пятью годами позже, проведя начало лета у себя в имении близ Санкт-Петербурга, мы с матерью и с маленьким братом поехали навестить одну тоскливую старую тетушку, проживавшую в своем на удивление пустынном имении близ знаменитого прибалтийского курорта. Както под вечер, когда я в напряженном экстазе расправлял положенную кверху брюшком исключительно редкую аберрацию "большой перламутровки", у которой серебряные полосы, украшающие внутреннюю поверхность задних крыльев, сливались в ровный металлический блеск, пришел кучер с известием, что старая госпожа просит меня явиться к ней. В гостиной я застал ее за разговором с двумя нескладными молодыми людьми в университетской студенческой форме. Один из них, со светлым пушком на щеках, был Тимофей Пнин, другой, с рыжеватым пушком на подбородке, был Григорий Белочкин. Они пришли спросить у тетушки разрешения использовать для постановки пьесы пустой сарай, стоявший на дальнем конце усадьбы. Речь шла о русском переводе трехактной пьесы Артура Шницлера "Liebelei"^{102}. Анчаров, провинциальный актер-полупрофессионал, чья репутация держалась главным образом на выцветших газетных вырезках, помогал им состряпать спектакль. Не хочу ли я в нем участвовать? В свои шестнадцать я был столь же заносчив, сколь и застенчив, и я отклонил роль безымянного господина из первого акта. Разговор кончился взаимным чувством неловкости, смягчить которую вовсе не помогло, что кто-то из них, то ли Пнин, то ли Белочкин, опрокинул стакан с грушевым kvas, после чего я вернулся к своей бабочке. Так случилось, что еще через две недели мне пришлось присутствовать на представлении. Сарай заполняли dachniki (отдыхающие), а также изувеченные солдаты из соседнего госпиталя. Я пришел с братом, а рядом с нами сидел управляющий имением моей тетушки Роберт Карлович Горн, жизнерадостный толстяк из Риги, с налитыми кровью фарфорового-голубыми глазами, который от всего сердца аплодировал в самых неподходящих местах. Помню тяжелый дух еловых веток, украшавших сцену, и глаза крестьянских ребятишек, блестящие через щели в стенах сарая. Передние ряды были установлены так близко к сцене, что когда обманутый муж вытаскивал пачку любовных писем, посланных его жене драгуном и студентом Фрицем Лобгеймером, и бросал их в лицо этому Фрицу, то можно было со всей отчетливостью видеть, что это старые

открытки, у которых даже срезаны уголки с маркой. Совершенно уверен в том, что незначительную роль этого разгневанного господина исполнял Тимофей Пнин (хотя он, конечно, мог появляться также и в другой роли в следующих действиях); впрочем, кожаное пальто пушистые усы и темный парик с пробором посередине настолько сильно преображали его, что тот совершенно минимальный интерес, который я испытывал к его особе, не может служить гарантией, что это был именно он. Фриц, юный любовник, которому суждено было сгинуть на дуэли, не только вел эту загадочную закулисную интригу с Дамой в Черном Бархате, женой того самого господина, но вдобавок еще жестоко играл с сердцем Кристины, наивной венской девицы. Роль Фрица исполнял плотный сорокалетний Анчаров, лицо которого было покрыто серо-кротовым гримом и который глухо бил себя по груди, точно выколачивал ковер; своими импровизированными добавлениями к роли, которую он не удосужился выучить, он просто в ступор приводил Фрицева дружка Теодора Кайзера (Григорий Белочкин). Богатой старой деве (в жизни, а не на сцене), которую ублажал Анчаров, была неосмотрительно доверена роль Кристины Вейринг, дочери скрипача. А роль юной модистки, возлюбленной Теодора, Митци Шлягер прелестно исполнила хорошенькая, с тоненькой шейкой и бархатными глазками сестра Белочкина, на чью долю выпало в тот вечер больше всего аплодисментов.

Маловероятно, чтобы в годы революции и гражданской войны, которые последовали за этими событиями, у меня бывал случай вспомнить доктора Пнина и его сына. Если я и воспроизвел с некоторыми подробностями мои предшествующие впечатления, то лишь затем, чтоб уточнить, что же должно было пронестись в моей памяти в тот апрельский вечер начала двадцатых годов, когда в одном из парижских кафе я пожимал руку русобородому, с детскими глазами Тимофею Пнину, эрудированному молодому автору нескольких великолепных трудов по вопросам русской культуры. У молодых *émigré* авторов и художников принято было тогда собираться в "Трех фонтанах" после различных чтений и лекций, которые пользовались такой популярностью в среде русских изгнанников; именно в такой вечер я, еще хрипевший после чтения, попытался не только напомнить Пнину о прежних наших встречах, но и позабавить его, а также сидевших вокруг нас необычайной ясностью и цепкостью моей памяти. Он, однако, все отрицал. Он сказал, что смутно припоминает мою тетушку, но со мной никогда не встречался. Он сказал, что отметки по алгебре у него всегда были довольно посредственные, да и, в любом случае, отец его не имел обыкновения демонстрировать его своим пациентам; он сказал, что в "Забаве" ("Liebeleien") он играл только роль отца Кристины. И он повторил, что мы с ним никогда раньше не встречались. Спор наш не выходил за рамки добродушного поддразнивания, и все вокруг смеялись; заметив, однако, его нежелание вспоминать свое собственное прошлое, я перевел разговор на другие, менее личные темы.

Неожиданно я осознал, что какая-то яркой внешности молодая девушка в черном шелковом свитере, с золотой лентой в каштановых волосах сделала моей главной слушательницей. Она стояла передо мной, опустив локоть правой руки на левую ладонь, а между большим и указательным пальцами правой руки сжимала, как это делают цыганки, сигарету, дым которой поднимался к потолку; яркие синие глаза ее из-за сигаретного дыма были полуприкрыты. Это была Лиза Боголепова, студентка-медичка, которая тоже писала стихи. Она спросила, не может ли она прислать мне на отзыв пачку своих стихов. На том же сборище, чуть позднее, я заметил, что она сидит рядом с мерзостно волосатым молодым композитором Иваном Нагим; они пили auf Bruderschaft,^[42] для чего собутыльники обычно переплетают руки, а чуть поодаль от них доктор

Баракан, талантливый невропатолог и Лизин последний любовник, наблюдал за ней с тихим отчаяньем в темных миндалевидных глазах.

Через несколько дней она прислала мне свои стихи; образцы ее продукции представляли в чистом виде то самое, что эмигрантские рифмоплетши писали тогда под влиянием Ахматовой: жеманные стишки, которые передвигались на цыпочках более или менее анапестического трехдольника, а потом вдруг усаживались довольно плотно и тяжело с тоскливым вздохом:

Samotsvétov krome ochéy
Net u menyà nikakich,
No est' roza eschcho nezhnéy
Rozovîh gub moiî.
I yunosha tihiy skazàl:
"Vashe sérdtse vsego nezhnéy..."
I yà opustila glazà...

Я расставил здесь ударения и транслитерировал русский текст, исходя, как обычно, из того, что "u" произносится, как короткое "oo", "i" как короткое "ee" и "zh" как французское "j". Такие неточные рифмы, как "skazal — glaza", считались очень элегантными. Отметьте также эротический подтекст и *coûr d'amour*^[43] намеки. Прозаический перевод выглядит так: "Никаких драгоценных камней, за исключением глаз, у меня нет, однако есть роза, которая еще мягче, чем мои розовые губы. А тихий юноша сказал: "Ничего нет мягче твоего сердца". И я опустила взгляд..."

Я послал Лизе ответ, написав ей, что стихи ее плохи и что ей следует прекратить их сочинение. Чуть позднее я увидел ее в другом кафе, где она сидела за длинным столом, вся цвет и пламень, среди дюжины молодых русских поэтов. Она смотрела на меня в упор своими сапфировыми глазами с насмешкой и тайной. Мы заговорили. Я предложил, чтоб она снова показала мне эти стихи в каком-нибудь более спокойном месте. Так она и сделала. Я сказал ей, что стихи показались мне еще хуже, чем при первом чтении. Жила она в самой дешевой комнатке маленького, приходившего в ветхость отеля, где не было ванной и была воркующая пара английских юношей за стеной.

Бедная Лиза!^[103] У нее бывали, конечно, свои поэтические мгновенья, когда она вдруг останавливалась, зачарованная, в разгар майской ночи где-нибудь на убогой улочке, чтоб полюбоваться — о нет, восхититься —

пестрыми клочьями старой афиши на мокрой черной стене в свете уличной лампы или, скажем, прозрачную зеленью липовых листьев, свисающих у фонаря, но была она из тех женщин, что сочетают здоровую красоту с истерической нечистоплотностью; всплески лирики с очень практичным и банальным умишком; низкий нрав с сентиментальностью; томную податливость с напористым умением заставлять других мчаться сломя голову по ее бессмысленной прихоти. В результате различных переживаний, а также развития событий, изложение которых не представляет интереса для широкой публики, Лиза проглотила горсть снотворных пилюль. Потеряв сознание, она опрокинула пузырек темно-красных чернил, которыми записывала свои стихи, и эта яркая струйка, вытекающая из-под двери, была замечена Крисом и Лью как раз вовремя, чтоб спасти ей жизнь.

Я не видел ее две недели после этого несчастья, но накануне моего отъезда в Швейцарию и Германию она подстерегла меня в маленьком садике в конце улицы, гибкая и загадочная, в очаровательном новом платье, серо-сизом, точно Париж, и в поистине восхитительной новой шляпке с синим птичьим крылом, и вручила мне сложенную бумажку. "Я хочу, чтоб вы дали мне последний совет, — сказала она тем голосом, который французы называют "белым". — Это предложение выйти замуж, которое я получила. Я буду ждать по полуночи. Если от вас не будет ответа, я приму это предложение". Она подождала такси и уехала.

Письмо на случай сохранилось в моих бумагах. Вот оно: [{104}](#)

"Коль причинить Вам боль случилось, простите, Лиз, — так суждено.

(Автор письма, хотя и писал по-русски, употреблял здесь все время французскую форму ее имени, для того, полагаю, чтоб избежать и слишком фамильярного "Лиза", и слишком официального "Елизавета Иннокентьевна".)

Всегда больно бывает существо чувствительному (chutkiy) видеть человека, поставленного в неловкое положение. А я, без сомненья, в неловком положении.

Вы, Лиз, окружены поэтами, учеными, художниками, денди.

Знаменитый художник, который писал в прошлом году Ваш портрет, теперь, говорят, пьет вусмерть (govoryat, spilsya) в дебрях Массачусетса. Слухи утверждают и многое другое. А тут вот я, да еще отваживаюсь писать Вам.

Я не красив, я не интересен, я не талантлив. Я даже не богат.

Но, Лиз, я предлагаю Вам все, что у меня есть, до последнего шарика моей крови, до последней слезы, все. И поверьте, это больше, чем может предложить Вам любой гений, потому что гению так много надо держать про запас, и оттого он не может предложить Вам всего себя, как это делаю я. Я, быть может, не обрету счастья, но я знаю, что пойду на все, чтобы Вас сделать счастливой. Я хочу, чтобы Вы писали стихи. Я хочу, чтоб Вы продолжали свои психотерапевтические исследования — в которых я мало что понимаю, хотя то, что поддается моему пониманию, представляется мне сомнительным. Кстати, я посылаю Вам в отдельном конверте брошюру, изданную в Праге моим другом, профессором Шато, в которой блестяще оспаривается теория Вашего доктора Хальпа о том, что рождение есть со стороны ребенка акт самоубийства. Я позволил себе смелость поправить одну явную опечатку на странице 48 отличной работы Шато. Я жду вашего" (вероятно, слово "решения" было отрезано Лизой вместе с подписью автора).

Когда еще через лет шесть я снова побывал в Париже, я узнал, что Тимофей женился на Лизе Боголеповой вскоре после моего отъезда. Она прислала мне сборник своих стихов "Suhie Gubī" ("Сухие губы"^{105}) с надписью, сделанной черными чернилами: "Незнакомцу от Незнакомки" (neznakomtsu ot neznakomki).

Я увидел Пнина и ее на вечернем чаепитии в квартире знаменитого émigré социал-революционера, одном из тех непринужденных сборищ, где старомодные террористы, героические монахини, талантливые гедонисты, либералы, безрассудные молодые поэты, престарелые романисты и художники, публикаторы и публицисты, вольномыслящие философы и ученые составляли нечто вроде особого рыцарского ордена, активное и влиятельное ядро эмигрантского общества, на протяжении доброго тридцатилетия своего процветанья остававшегося практически неизвестным американским интеллектуалам, для которых понятие о русской эмиграции стараниями хитрой коммунистической пропаганды включало расплывчатую и на сто процентов вымышленную массу так называемых троцкистов (независимо от того, что это такое на самом деле), разорившихся реакционеров, перебившихся или переодевшихся чекистов, титулованных дам, профессиональных священников, кабатчиков и объединенных в свои группы белогвардейцев — ни вместе, ни по отдельности не представлявших никакой культурной ценности.

Воспользовавшись тем, что Пнин втянулся в политическую дискуссию с Керенским на другом конце стола, Лиза сообщила мне — с обычной своей грубоватой прямоотой, — что она "все рассказала Тимофею", что он "святой" и что он "простил" меня. На счастье, впоследствии она не часто появлялась на вечерах, где я имел удовольствие сидеть рядом с ним или, напротив, в компании милых друзей, на нашей маленькой одинокой планете, над этим черным алмазным городом, и свет ламп освещал то один, то другой сократовский череп, и ломтик лимона кружился, поспекая за ложечкой в чайном стакане. Как-то вечером, когда доктор Баракан, Пнин и я сидели у Болотовых, я разговорился с неврологом о его кузине Людмиле, теперь леди Д..., которую я знал по Ялте, Афинам и Лондону, когда вдруг Пнин закричал доктору через стол: "Вы не верьте ни одному его слову, Георгий Арамович. Он все выдумывает. Он придумал однажды, что мы учились с ним в школе в России и списывали на экзаменах. Он ужасный

выдумщик (on uzhasniy vidumschik)". Баракан и я были настолько поражены этой вспышкой, что мы просто сидели и смотрели друг на друга, не говоря ни слова.

Когда перебираешь в памяти былые встречи, то более поздние впечатления часто видятся менее ярко, чем ранние. Помню, как я беседовал однажды с Лизой и ее новым мужем, доктором Эриком Финтом, между двумя актами русской пьесы в Нью-Йорке в начале сороковых годов. Он сказал, что питает "поистине нежное чувство к герру профессору Пнину", вслед за чем поделился со мной какими-то странными подробностями их совместного путешествия из Европы в начале второй мировой войны. За эти годы я несколько раз видел Пнина в Нью-Йорке на всяких научных и общественных мероприятиях; однако единственное яркое впечатление осталось у меня от нашей с ним совместной поездки в вест-сайдском автобусе в какой-то очень праздничный и очень дождливый вечер 1952 года. Мы съехались тогда каждый из своего университета, чтобы выступить в обширной литературной и художественной программе перед большой эмигрантской аудиторией в центре НьюЙорка по случаю столетия со дня смерти великого писателя^{106}. Пнин преподавал в Уэйнделе с середины сороковых годов, и никогда еще я не видел его таким здоровым, процветающим и самоуверенным. Мы с ним оказались оба, как он сострил, vos'midesyatniki, то есть остановились на ночлег в районе восьмидесятих улиц западной части города^{107}; и вот покуда мы висели рядышком на ремнях в переполненном и конвульсивно дергавшемся автобусе, мой добрый друг ухитрялся совмещать подныриванье и верчение головой (при своих непрерывных попытках еще раз проверить и перепроверить номер пересекаемой нами улицы) с великолепным изложением всего, что он не успел рассказать на торжествах об использовании развернутых сравнений у Гомера и Гоголя.

Когда я решил принять профессорское место в Уэйнде, я поставил условием, что я смогу пригласить кого мне будет удобно для преподавания на особом русском отделении, которое я там собирался открыть. Получив на это согласие, я написал Тимофею Пнину, предложив ему в самых сердечных выражениях, на какие только был способен, сотрудничать со мной в той форме и в той степени, в какой он сочтет желательным. Его ответ удивил меня и задел. Очень коротко он сообщал мне, что с преподаванием покончено и что он даже не даст себе труда дожидаться конца весеннего семестра. После чего он перешел к другим предметам. Виктор (о котором я осведомился из вежливости) находился в Риме со своей матерью; она разошлась со своим третьим мужем и вышла замуж за итальянского торговца картинами. В заключение письма Пнин писал, что, к его глубокому сожалению, он покинет Уэйнд за два или три дня до назначенной на вторник 15 февраля моей первой публичной лекции. Он не уточнял, куда он направляется.

"Грейхаунд", на котором я добрался в понедельник четырнадцатого в Уэйнд, прибыл туда уже затемно. Меня встретили супруги Кокарек, которые, несмотря на поздний час, повезли меня ужинать к себе домой, и там я обнаружил, что ночевать мне придется у них, а не в отеле, как надеялся. Гвен Кокарек была очень привлекательная, лет около сорока женщина с профилем котенка с весьма изящными конечностями. Ее муж, с которым мне приходилось однажды встречаться в Нью-Хэйвене и который запомнился мне как довольно вялый, круглолицый и неприметно светловолосый англичанин, приобрел несомненное сходство с человеком, которого он уже на протяжении десяти лет пародировал. Я был утомлен и вовсе не жаждал, чтоб меня развлекали за ужином кабаре-точным представлением, и все же должен признать, что его перевоплощение в Пнина было безупречным. Он не унимался по меньшей мере часа два и успел показать мне всю программу — как Пнин преподает, как он ест, как он обольщает коллегу, как Пнин излагает эпическую историю об электрическом вентиляторе, который он поместил на стеклянной полке как раз над ванной и который чуть не свалился туда в результате своей собственной вибрации; как Пнин пытается убедить профессора Уойнэка, орнитолога, который с ним едва знаком, в том, что они старые приятели, Тим и Том, — в результате чего Уойнэк приходит к заключению, что перед

ним человек, который только притворяется Пниным. Весь комизм был основан, конечно, на пнинской жестикуляции и его фантастическом английском, но Кокареку удалось передать и такие тонкие вещи, как различие в молчанье Пнина и молчании Тэйера, когда оба они, застыв в задумчивости, сидят на соседних стульях в профессорском клубе. Перед нами предстали Пнин среди книжных стеллажей и Пнин на местном озере. Мы слышали жалобы Пнина на все комнаты, которые он снимал одну за другой, по очереди. Слышали рассказ Пнина о том, как он учился водить машину, и о том, как ему удалось справиться с первым проколом шины, когда он возвращался из какого-то "птичника царского советника", где он, как полагает Кокарек, проводил летние каникулы. Мы добрались наконец до того, как Пнин сделал заявление о том, что его "зашибли", каковым заявлением, по мнению пародиста, бедняга хотел сообщить, что его "вышибли" (я все же сомневаюсь, что мой друг мог так ошибиться). Блистательный Кокарек рассказал также о странной распре между Пниным и его соотечественником Комаровым — посредственным художником-монументалистом, который добавлял изображения здешних профессоров к фресковым портретам в столовой, написанным великим Лангом. Хотя Комаров принадлежал к иной политической группировке, нежели Пнин, патристически настроенный художник усмотрел в увольнении Пнина антирусский выпад и начал понемногу счищать мрачного Наполеона, стоявшего между молодым, пухлым (теперь уже тощим) Блоренджем и молодым, усатым (теперь уже бритым) Гагеном, для того чтоб вставить туда изображение Пнина; за обедом между Пниным и президентом Пуrom разыгралась бурная сцена — разъяренный, брызжущий слюной Пнин, теряя последние остатки английского и тыча пальцем в черновой набросок призрачного мужика на стене, стал выкрикивать, что он начнет против университета судебное преследование, если над этой блузой появится его лицо; все это обращено было к невозмутимому закованному во мрак своей слепоты президенту Пуру, который, дождавшись, когда Пнин выпустит свой запал, спросил, обращаясь в пространство: "Разве этот иностранный господин состоит у нас в штате?" О да, пародии были изумительно смешные, и хотя Гвен Кокарек, должно быть, видела эту программу не раз, она смеялась так громко, что их старый пес Собакевич, коричневый кокер-спаниель, с мордой облитой слезами, начал с беспокойством меня обнюхивать. Спектакль, повторяю, был великолепный, но слишком длинный. К полуночи комизм стал выдыхаться; улыбка, которую я все время держал на плаву, начала, я чувствовал, вырождаться в симптомы губных спазмов. В конце концов, вся эта штуковина сделалась такой

утомительной, что мне стало приходить в голову, не сделалась ли для Кокарека в результате некоего поэтического возмездия вся эта пнинская история роковым наваждением, которое вместо начального объекта его пародии избрало жертвой его самого.

Выпито было довольно много шотландского виски, и около полуночи Кокарек решился вдруг на одну из тех импровизаций, которые кажутся такими остроумными и веселыми на определенной стадии опьянения. Он сказал, что наверняка эта старая лиса Пнин никуда не уехал вчера, а затаился у себя в норе. Почему бы не позвонить ему сейчас и не выяснить? Он набрал номер, и хотя не последовало ответа на эти настойчивые сигналы, которые только притворяются истинными звонками, звучащими где-то далеко, в воображаемой прихожей, логично было предположить, что этот совершенно исправный телефон попросту отсоединен был, если Пнин действительно освободил дом. Мной владело глупейшее побуждение сказать что-нибудь дружеское моему доброму Тимофею Палычу, и потому некоторое время спустя я тоже попробовал ему дозвониться. Вдруг раздался щелчок, протянулась вдаль звуковая перспектива, послышалось тяжелое дыхание, а потом неумело измененный голос сказал: "Он не есть дома, он ушел, он совсем ушел", — после чего трубку повесили; однако никто, кроме моего старого друга, ни один даже самый лучший его имитатор, не смог бы так выразительно срифмовать "at" с немецким "hat", "home" с французским "homme", а "gone" с первой половиной "Гонерильи" [{108}](#). Кокарек предложил подъехать к дому 999 по Тодд-роуд и там спеть серенаду его ушедшему в подполье обитателю, но тут вмешалась миссис Кокарек; и после вечера, который оставил у меня в душе нечто похожее на похмельный привкус во рту, мы все отправились спать.

Я дурно провел ночь в очаровательной, хорошо проветренной и мило обставленной комнате, где ни дверь, ни окно нельзя было плотно прикрыть и где дорожное издание Шерлока Холмса, которое годами меня преследовало, подложено было под настольную лампу, настолько тусклую, что корректуры, захваченные мной для правки, не могли скрасить часов бессонницы. Каждые две минуты, а то и чаще, грохот грузовиков сотрясал дом; я то погружался в дремоту, то просыпался снова от удушья и садился в постели, и вспышки какого-то света, пробиваясь с улицы через смехотворной толщины занавеси, вдруг освещали зеркало, и мне казалось, что стрелковый взвод открывает оттуда по мне огонь.

Так уж я устроен, что должен непременно проглотить сок, выжатый из тройки апельсинов, прежде чем предстать перед лицом суровой дневной действительности. Поэтому в половине восьмого утра я наскоро принял душ и еще через пять минут вышел из дому в сопровождении долгоухого и мрачного Собакевича.

Воздух был жесткий, небо чистое, надраенное до блеска. Если поглядеть на юг, безлюдная дорога поднималась в серо-синие холмы среди снеговых заплаток. Высокий безлистный тополь, бурый, как швабра, поднимался справа от меня, и его долгая утренняя тень, пересекая улицу, достигала иззубчатренного кремового дома, который мой предшественник, если верить Кокареку, считал турецким консульством, поскольку заметил, что туда входило множество людей в фесках. Я повернул влево, к северу, и прошел несколько кварталов, спускаясь вниз по холму к ресторану, который приметил накануне; однако там еще было закрыто, и я повернул назад. Я успел пройти всего несколько шагов, когда вверх по улице прогрехотал большой грузовик с пивом, вплотную за ним маленькая, бледно-голубая легковушка с белой собачьей головой, из него выглядывавшей, а следом еще один грузовик с пивом, точно такой же, как первый. Скромная легковушка была набита узлами и чемоданами; за рулем ее сидел Пнин. Я издал приветственный рев, но он меня не видел, и единственное, на что я мог надеяться, это преодолеть достаточно быстро квартал до вершины холма и догнать его у светофора, где он будет пережидать красный свет.

Я быстро обошел задний грузовик и снова увидел моего старого друга, его напряженный профиль под кепкой с наушниками, его зимний плащ; однако уже в следующее мгновение свет переменялся на зеленый,

маленькая белая собачонка пригнула голову и тявкнула на Собакевича, и все рванулось вперед — первый грузовик, Пнин, второй грузовик. С того места, где я стоял, я наблюдал удалявшийся автомобиль в дорожной раме, между мавританским домом и ломбардским тополем. Потом маленькая легковушка дерзостно обогнула первый грузовик и, вырвавшись наконец на свободу, прыснула вверх в сиянье дороги, сужавшейся вдали до тоненькой золотой нити, мреющей в легком тумане, где гряды холмов так прекрасно преображали пространство, что предсказать невозможно было, какое чудо там может случиться.

Кокарек, в буром халате и сандалиях, впустил кокера и пригласил меня в кухню к английскому завтраку из унылых почек и рыбы.

"А теперь, — сказал он. — я расскажу вам, как Пнин вышел на трибуну Женского клуба в Кремоне и обнаружил, что он взял с собой не ту лекцию".

notes

Notes

1

пристегивающийся воротничок (*фр.*)

2

рассеянный профессор (нем.)

3

неведомая страна (*лат.*)

4

анекдот (*фр.*)

меблированного пространства (*фр.*)

Живые картины (фр.)

очередная статья из рубрики, статья с продолжением (фр.)

щупать (*груб. фр.*)

дорогой господин Пнин (*нем.*)

эмигрантский, эмигрант (*фр.*)

драже (фр.)

Когда вы так, то я так, и лошадь улетает (*искаж. нем.*)

прошу прощения (нем.)

14

Оставьте меня, оставьте меня (*нем.*)

Ах, нет, нет, нет (*нем.*)

Искаж. фр. слово "кошмар", которому Пнин придает немецкое окончание.

дворец (*ит.*)

такова жизнь (*фр.*)

Теперь, ныне (*нем.*)

пыль, прах (*фр.*)

закусками (фр.)

большая (великая) история (фр.)

Руки прочь от Кореи (*фр.*). Мир победит войну (*исп.*). Мир победит войну (*нем.*)

одинокый король [{109}](#) (лат.)

доавангардный (фр.)

Свыше, сверх (*лат.*)

подпольная кличка (*фр.*)

путаница, недоразумение (*лат.*)

Вы понимаете французский? Хорошо? Неплохо? Чуть-чуть? (фр.)

Совсем чуть (*искаж. фр.*)

"Колыбельная" [{110}](#) (фр.)

около (лат.)

небольшие крендели (нем.)

точное слово (фр.)

пополудни (*лат., англ.*)

вестфальский пряник (нем.)

в молодости (*фр.*)

Кто есть кто (*англ.*)

ужасный ребенок / возмутитель спокойствия (фр.)

не так ли? (нем.)

Бедный малый, бедняга (*нем.*)

на брудершафт (нем.)

43

любовные (фр.)

comments

Комментарии

Роман, первоначально названный "Мой бедный Пнин", был написан в 1953–1955 гг. Вышел в 1957 г. в издательстве Doubleday; четыре главы до этого печатались в журнале *New Yorker*. Русский перевод Г. Барабтарло при участии В. Е. Набоковой был опубликован американским издательством Ardis в 1983 г. и перепечатан в СССР "Иностранной литературой" (1989, № 2). Хотя он вызвал разноречивые отклики, нельзя не признать, что его отличает большая точность и глубина проникновения в набоковский замысел. В 1989 г. Г. Барабтарло выпустил монографический "путеводитель" по "Пнину" (Barabtarlo G. *Phantom of Fact. A Guide to Nabokov's Pnin*. Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1989, 314 pp.), высоко оцененный специалистами. К сожалению, мы не смогли своевременно познакомиться с этой работой, и потому в нашем кратком комментарии разыскания Г. Барабтарло не учтены.

Набоков долгие годы читал лекции по русской и мировой литературе в американских университетах, и, естественно, этот его опыт нашел отражение в романе. Исследователи обычно видят в Уэйнделе карикатуру на Корнельский университет, где писатель работал с 1948 по 1959 г., а в персонажах "Пнина" — шаржированные собирательные портреты его коллег и учеников, устанавливая для многих из них вполне определенные реальные прототипы. Описанная в пятой главе встреча русских эмигрантов также основана на реальных впечатлениях — подобным же образом Набоковы дважды проводили лето в Вермонте, в гостях у профессора Гарвардского университета и редактора "Нового журнала" Михаила Михайловича Карповича (1888–1959).

Как отмечал Набоков в письмах, его основной художественной задачей было создание нового для литературы характера — комического, даже гротескного, но, в сопоставлении с так называемыми "нормальными людьми", — более человеческого, более чистого и цельного, более нравственного (см.: Nabokov V. *Selected Letters. 1940–1977*. Ed. by Dmitri Nabokov and Matthew J. Broccoli. San Diego — N. Y. — Lnd. P. 178, 182).

Фамилия главного героя романа совпадает с фамилией русского поэта и публициста — вольнодумца из окружения Радищева — Ивана Петровича Пнина (1773–1805), внебрачного сына князя Н. В. Репнина.

Элис Айленд — остров в Нью-Йоркской бухте, на котором с 1892 по 1954 г. находились центральный пропускной пункт и временный лагерь для иммигрантов, прибывающих в США морским путем.

...банального лесковского зубоскальства... — Имеется в виду прежде всего повесть Н. С. Лескова "Левша", образец его "сказовой" манеры, о которой Федор Годунов-Чердынцев в "Даре" отзывался крайне пренебрежительно: "Но всякие там нарочитые "аболоны"... — нет, увольте, мне не смешно".

..."*дальше тишина*" — "the rest is silence" — предсмертные слова Гамлета (акт V, сц. II, ст. 372; пер. М. Лозинского). В горячо любимом Пниным переводе А. Кронеберга они переданы по-иному: "Конец — молчанье".

"Никогда больше" — "nevermore" — слово-рефрен, заключающее одиннадцать из шестнадцати строф знаменитого стихотворения Э. По "Ворон".

"Маргинальное употребление" — "marginal utility" (экон.) — дополнительная ценность товара, возникающая в тех случаях, когда потребитель приобретает его последний экземпляр.

"Оки-доки" (амер.) — один из вариантов "О'кей".

...Трумэн начал свой второй... срок... — Гарри Трумэн (1884–1972), вице-президент США при Ф.-Д. Рузвельте, стал тридцать третьим по счету президентом страны после смерти последнего в 1945 г. В 1948 г. выиграл президентские выборы, так что его "второй срок" начался в январе 1949 г.

Мисс Сверленбор — в оригинале Eisenbohr. Здесь и далее переводчик изменяет значимые фамилии персонажей (Блисс — Кис, Винд — Финт и т. п.). Отметим, что в своих автопереводах Набоков никогда не прибегал к подобным заменам.

Гештальтпсихология (от нем. Gestalt — образ, структура, целостная форма) — авторитетное на Западе направление психологии, возникшее в 1920-е годы в Германии и рассматривающее психическую структуру личности как целостность, несводимую к сумме составляющих элементов. Здесь, как и на протяжении всего романа, Набоков высмеивает модные теории, получившие широкое распространение в американских университетских кругах в 1950-е годы (компаративистика, психоанализ, экзистенциализм, социометрия и т. п.).

"Вебстеровский... словарь". — Под именем Ноаха Вебстера (1758–1843), создателя первого американского толкового словаря, в США по традиции издаются разнообразные словари и справочники.

Ходотов Николай Николаевич (1878–1932) — драматический актер, создатель жанра мелодекламации, премьер Александринского театра; самый большой успех имел в инсценировках романов Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание"; был склонен к внешним эффектам.

"Я знаю хорошо — бесценный этот перл..." — цитата из "Гамлета" (акт IV, сц. VII, ст. 94). Ср. в переводе А. Кронеберга: "Он мне знаком: бесценный перл народа".

"Девочка с котенком". — Речь идет о картине немецкого салонного художника Пауля Хекера (1854–1910).

"Козленок, оставший от стада" (1857) — картина известного американского художника Уильяма Морриса Ханта (1824–1879), последователя французской "Барбизонской школы".

Шатобриан Франсуа Рене де (1768–1848) — французский писатель, автор романтических повестей, действие которых происходит в девственных лесах Америки: "Атала, или Любовь двух дикарей" и "Рене, или Следствия страстей". Его художественная проза и стихи — важный источник и объект пародирования в поздних произведениях Набокова, особенно в романе "Ада" (1969).

"Карпалистика" (от греч. "карпос") — кисть руки, язык жестов и особая наука, его изучающая; неологизм Набокова, который интересовался этим предметом и даже собирался написать книгу о жестикуляции.

...жена... Толстого... любила глупый музыкант... — Имеется в виду платоническое увлечение С.А. Толстой композитором С.И. Танеевым, который летом 1895 и 1896 гг. подолгу гостил в Ясной Поляне. По воспоминаниям сына Льва Толстого Сергея, это "ненормальное пристрастие" было "очень неприятно отцу", писавшему в дневнике, что Танеев вызывает у него отвращение.

...лавке Сола Багрова... — Очевидная перекличка с только что упомянутым мифическим Аксаковским институтом, ибо Багровы — это фамилия героев автобиографических книг С. Т. Аксакова "Семейная хроника" и "Детские годы Багрова-внука".

...влиятельного литературного критика Жоржика Уранского... — Подразумевается один из главных литературных врагов Набокова, поэт и критик Георгий Викторович Адамович (1894–1972), в тридцатые годы — лидер и кумир "парижской школы" эмигрантской поэзии. Его критическая деятельность, по определению Г. Струве, отличалась "капризной субъективностью", непоследовательностью и непостоянством (см.: Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж, 1984. С. 206, 373); от поэзии он требовал безыскусственности, интимной непосредственности, "дневниковости", предпочитая искренность бессвязной исповеди "хорошо сделанным стихам", и порой давал незаслуженно высокие оценки поэтам-эпигонам из своего окружения. Фамилия Уранский намекает на "уранизм" (малоупотребительный синоним гомосексуализма) Адамовича.

Нансеновский паспорт — специальный документ, выдававшийся русским эмигрантам для проживания за границей без гражданства. Он был учрежден по инициативе Фритьофа Нансена (1861–1930), знаменитого норвежского полярного исследователя и филантропа, комиссара Лиги Наций по русским делам.

"Грейхаунд" (амер.) — автобус дальнего следования (по названию компании).

Кампус (амер.) — университетский городок.

Я надела темное платье... — Стихотворение Лизы пародирует метры, интонацию и словоупотребление ранней лирики Анны Ахматовой. Так, например, оно открывается контаминацией известных строк из "Вечера" (1912) и "Четок" (1914): "Я надела узкую юбку" ("Все мы бражники здесь, блудницы..."), "Сжала руки под темной вуалью" (одноименные стихи) и "В этом сером будничном платье" ("Ты письмо мое, милый, не комкай..."). По свидетельству мемуаристки, сама Ахматова была задета пародией и сочла книгу Набокова "пасквильантской" (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. Париж, 1980. С. 382–383).

Лермонтов... выразил все, что можно сказать о русалках, в двух стихотворениях. — Имеются в виду стихи Лермонтова "Русалка" ("Русалка плыла по реке голубой..."; 1832) и "Морская царевна" ("В море царевич купает коня..."; 1841).

Риверсайд — парк в Нью-Йорке на берегу реки Гудзон. Пнин жил на северо-западе Манхэттена, в его так называемой "верхней" (Uptown) части — точнее, там, где улицы имеют порядковые номера от 79 до 110 (граница Гарлема) и где были расположены главным образом дешевые доходные дома.

Хендрик Биллем ван Лун (1882–1944) — американский литератор, автор научно-популярных книг для детей по истории, географии и др.

Кронин Арчибальд Джозеф (1896–1931) — английский романист, врач по профессии, автор некогда популярных семейных эпопей.

...твореньями миссис Гарнет... — Имеется в виду Констанс Гарнет (1862–1946), английская переводчица русской классики, работу которой Набоков всегда оценивал резко отрицательно.

...острый, как у Герцогини из Страны чудес, подбородок... — Подбородок Герцогини из сказки Л. Кэрролла был, словами Набокова, "острым, неудобным подбородком", (см.: Кэрролл Л. Аня в стране чудес./ Пер. В. Набокова. Л., 1989. С. 150).

Советский Золотой Фонд Литературы — вымышленное название серии. Очевидно, подразумевается "Литературное наследство", "толстовские" тома которого (35–38) начали выходить в 1939 г.

26 декабря 1829 года... Санкт-Петербург. — Стихи Пушкина "Брожу ли я вдоль улиц шумных...", которые переводит и растолковывает студентам Пнин, в рукописи имели помету: "26 декабря 1829 года. С.-Петербург. 3 часа 5 минут".

Цирк Буша, Берлин — первый стационарный цирк в Германии, основанный в 1896 г. антрепренером и режиссером Паулем Бушем (1850–1927).

...тикондерога-тикондерога... — обыгрывается название города Тикондерога в штате Нью-Йорк, вошедшего в историю как место одного из важнейших сражений американской Войны за независимость. В нем находится фабрика по производству карандашей.

...суббота, 12 февраля — а на дворе уже был вторник, о, Беспечный Читатель! — На первый взгляд эта фраза может показаться напоминанием "беспечному читателю", что Пнин родился 15 февраля 1898 г. и, следовательно, действие главы происходит в день его пятидесятилетия, о чем он напроць забыл. Однако, сверившись с реальным календарем, мы обнаруживаем, что в 1953 г. 12 февраля пришлось не на субботу, а на четверг, и, значит, вторым вторником месяца было десятое число — тот самый день смерти Пушкина, который Пнин не успел сообщить своим студентам. Таким образом, события получают две равноправные значимые датировки — "фиктивную" и "календарную", что, на наш взгляд связано с раздвоением образа повествователя в романе на невидимого и всевидящего автора, свободно отменяющего или изменяющего календарь, и его сниженного "заместителя", который существует лишь в реальном времени. Эта игра переворачивает рассуждение Пнина о двойной датировке первой части "Анны Карениной" (см. коммент. к с. 263) — если в одном случае он способен, изучив **реальную** газету, установить точную дату **вымысла**, то в другом, наоборот, не видит в **вымышленной** газете ключа к собственной "реальности".

...Ревущих Шестидесятых... — Обыгрывается выражение "ревущие сороковые" — о полосе штормовых ветров в океане, находящейся между сороковой и пятидесятой параллелями.

...обширного труда Костромского... о русских мифах... — Очевидно, мистификация.

Зеленая неделя — то же, что Зеленые святки, неделя, предшествующая дню Святой Троицы. Описывая обряды этого весеннего праздника, Набоков смешивает этнографические факты и вымысел. Так, плетение венков, которые развешивают по деревьям и пускают на воду, действительно отмечено исследователями. С другой стороны, ивы к этому ритуалу отношения не имеют (венки вешают или, чаще, заплетают на березах); сомнительно также упоминание о плавающих среди венков девушках.

...плыла и пела, пела и плыла... — цитата из "Гамлета" (акт IV, сц. VII) в переводе Андрея Ивановича Кронеберга (1814–1855). Этот перевод действительно вышел в 1844 г. (Пнин точен!) и до начала XX в. считался образцовым. С точки зрения Набокова, он являет собой пример самого страшного "переводческого греха" — стремления приукрасить оригинал. В частности, цитируемая строка не имеет никаких соответствий у Шекспира. Монолог Гертруды о гибели Офелии, с которым Кронеберг так вольно обошелся, Набоков сам переводил на русский язык (см.: Руль, 1930, 19 октября. С. 2).

Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920) — историк литературы, библиограф, профессор Петербургского университета. Под его редакцией в издательстве "Брокгауз и Эфрон" выходила "Библиотека великих писателей", в состав которой вошло и полное собрание сочинений Шекспира в пяти томах (1902–1904).

Глумышкин — так в России называли франко-итальянского комика Андре Дида (1884–1931), чьи фильмы были построены на нелепых ситуациях и акробатических трюках.

Макс Линдер (наст. имя: Габриель Максимилиан Левьель; 1883–1925) — известный французский комический актер и режиссер немого кино.

Рэнд Макнэлли — чикагское издательство, специализирующееся на выпуске географических атласов, справочников и карт (основано в середине XIX в.).

Богемское море близ Мыса Бурь. — Оба эти названия имеют чисто литературное происхождение. На побережье, конечно же, мифического Богемского моря происходит действие III сцены III акта "Зимней сказки" Шекспира; "Буря" — другая его сказка.

Персиваль Блейк. — Имя "американского авантюриста" соединяет королевского сына Персиваля, рыцаря из "Смерти Артура" (см. коммент. к с. 84) с английским поэтом-провидцем Уильямом Блейком (1757–1827). Кроме того, оно напоминает о Перси Блейкни — главном герое приключенческой пьесы и романа английской писательницы венгерского происхождения баронессы Эммушки Окси (1865–1947) "*Очный цвет*" (1903, 1905). Действие этих чрезвычайно популярных произведений, а также их многочисленных продолжений происходит во Франции в годы Великой революции; герой-англичанин, чье имя никому не известно, спасает невинных от гильотины и в последний момент неизменно ускользает от преследователей, дразня врагов записками, где вместо подписи нарисован алый цветок — "из тех, что мы в Англии называем очный цвет". Ниже пьеса Окси прямо названа одним из источников фантазии Виктора.

Лай и Иокаста — в древнегреческом мифе родители Эдипа, которому, по прорицанию оракула, суждено было убить отца и жениться на матери. К этому мифу восходит одно из центральных понятий психоанализа Фрейда, которое здесь высмеивает Набоков, — так называемый Эдипов комплекс. По Фрейду, каждый ребенок мужского пола стремится обладать собственной матерью и мечтает устранить отца как главную помеху этому; впоследствии этот комплекс, вытесненный в подсознание, становится "ядром неврозов".

...английское слово "белка" происходит от греческого слова, означающего "тенехвост". — Греческое слово "skiouros", от которого происходит английское "squirrel", действительно имеет два корня: "ski/á/" (тьнь) и "ourá" (хвост).

...к почитываемому на ночь датчанину... — Имеется в виду датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен (1805–1875). В "Лолите" Гумберт Гумберт дарит своей "нимфетке" на тринадцатый день рождения его "Русалочку".

...специальные психометрические тесты... — Все описываемые ниже процедуры, как и фамилии экспериментаторов, обнаруживают знакомство Набокова с текущей психологической литературой и отсылают к реальным источникам, лишь "остраняя" их методологию и язык (см. об этом: Barabtarlo G. Beautiful Soup: Psychiatric Testing in Pnin./ /The Nabokovian, Spring 1988, 20. P. 36–44). Наиболее известный из этих тестов — "*пятна Роршаха*" (по имени изобретателя, швейцарского психиатра Германа Роршаха (1884–1922), тезки убийцы из романа Набокова "Отчаяние").

...эротические галоши... — Согласно учению Фрейда о толковании сновидений и фантазий, обувь, зонтик и пр. упомянутые здесь предметы являются символами гениталий.

"Мандала" (санскрит) — круг. В восточных религиях "мандалой" называют схематическое изображение космоса, имеющее концентрическую структуру. Специально изучавший эти изображения швейцарский психолог и философ Карл Густав Юнг (1875–1961), создатель учения о коллективном бессознательном и архетипах, интерпретировал "манданлу" как универсальный символ, означающий стремление личности к интеграции всех составных частей своего "Я".

Морфос (энтом.) — последовательные стадии, через которые проходит насекомое в своем развитии.

...на картинке в *"Венском требнике"*... — Вероятно, еще один намек на учение Фрейда (которого Набоков презрительно именовал "венским доктором", "венским шарлатаном" или главой "венской делегации"), ибо по нему всякого рода острое оружие — нож, кинжал, копье и т. п. — в сновидениях символически заменяет мужской половой член.

Св. Варфоломей — апостол, который лишь очень бегло упоминается в Новом завете. По преданию, он проповедовал слово Христово в Армении и был там казнен по приказу царя. Некоторые источники называют местом его казни древний Альбанополис, город на Каспийском море (в районе современного Дербента), хотя его останки покоятся в церкви на острове в устье Тибра. На многочисленных изображениях св. Варфоломей обычно держит в руке нож, которым, согласно легенде, с него заживо содрали кожу.

...погиб во время мессинского землетрясения. — Мощное землетрясение почти полностью разрушило сицилийский город Мессина в 1908 г.

Гертруда Кейзебир (1852–1934) — американский фотограф, участница группы "Фото-сецессион", основанной в 1902 г. с целью развития художественной фотографии как самостоятельного вида искусства. Мать с ребенком — модель многих ее работ.

"Паломники из Эммауса" (1648; другое название *"Христос в Эммаусе"*) — знаменитая картина Рембрандта, на которой Иисус изображен за столом с двумя паломниками (находится в Лувре).

Неопластицизм — теория и практика группы голландских художников-абстракционистов "Де Стил" (1917–1928), пользовавшихся в своих работах лишь чистыми цветами и членивших полотно на геометрически правильные сегменты прямыми линиями по горизонтали и вертикали. Наибольшей известностью из них пользуется Пит Мондриан (1872–1944).

Нон-объективизм — направление в абстрактной живописи, связанное с именем Василия Кандинского (1866–1944).

..*Дали... брат-близнец Нормана Рокуэла...* — Набоков иронизирует над прославленным испанским художником-сюрреалистом Сальвадором Дали (1904–1989), уподобляя его модному американскому иллюстратору Норману Рокуэлу (1894–1978), сделавшему себе имя главным образом работой в рекламе.

..*Дега смог обессмертить французскую коляску...* — Имеется в виду картина Эдгара Дега "Скачки в провинции. Экипаж на скачках" (ок. 1870–1872, Бостонский музей изящных искусств). На первом плане картины — лакированная коляска (calèche), в которой сидят две дамы и господин в цилиндре.

...магическом выпуклом зеркале... — Круглое выпуклое зеркало, в котором отражается комната, — деталь на знаменитой картине фламандского художника Яна ван Эйка (1381–1440) "Портрет Арнольфини с женой" (1434, Лондонская национальная галерея). В дальнейшем этот же мотив неоднократно повторяли последователи ван Эйка и среди них Петрус Кристус (1400–1472) и Ганс Мемлинг (1425–1495?).

"Сокер" (англ.) — европейский футбол в противоположность футболу американскому и регби.

Иден... вам про английского политика? — Имеется в виду сэр Энтони Иден (1897–1982), британский государственный деятель, в 1955–1957 гг. — премьер-министр. В США (как, впрочем, и во всем мире, за исключением СССР) Джека Лондона уже давно никто не читает, его книги не переиздаются, и поэтому нет ничего удивительного в том, что продавщица не знает его роман *"Мартин Иден"*, знакомый Пнину с детства (рус. перев. 1912).

"Сын Волка" — рассказ и одноименный сборник (1900) Джека Лондона.

Ланс Бок. — То же имя носит герой рассказа Набокова "Ланс", действие которого происходит в отдаленном будущем. В нем анаграммированы первые пять букв фамилии писателя.

Первое описание бокса... находим в поэме Михаила Лермонтова... —
Имеется в виду "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова" (1840).

Первое описание тенниса... в "Анне Карениной"... — Набоков передает Пнину целый ряд своих наблюдений над "Анной Карениной", содержащихся в его лекциях о Толстом. В частности, он отмечал описание игры в теннис у Вронского, датируя эпизод июлем 1875 г., и обращал внимание на точные детали сцены. (См.: Nabokov V. Lectures on Russian Literature. Ed. by Fredson Bowers. N. Y. — Lnd. P. 234.)

*...рассказ Толстого... про Ивана Ильича Головина, который...
заполучил... почку рака. — Несмотря на оговорку, Пнин "угадал", какой
диагноз поставил Набоков герою повести Толстого "Смерть Ивана Ильича"
(см.: Lectures on Russian Literature. P. 240).*

Дефенестрация (историч.) — казнь посредством выбрасывания из окна.

Глидденский Автопробег — один из автопробегов, регулярно проводившихся Американской автомобильной ассоциацией с 1905 по 1913 г. с целью продемонстрировать публике достоинства нового средства передвижения (по имени организатора, Чарльза Джаспера Глиддена).

Алданов Марк (псевдоним Марка Александровича Ландау; 1889–1957) — русский писатель-эмигрант, автор широко известных исторических романов, один из немногих литературных знакомых Набокова, с кем он до конца сохранял сердечные отношения. "Проницательный ум и милая сдержанность Алданова были всегда для меня полны очарования", — писал Набоков в "Других берегах".

Сири́н. — Упомяная здесь собственный псевдоним, Набоков подготавливает последующую игру с образом повествователя романа, который строится одновременно в двух планах — как биографический двойник реального автора (см. ниже разговор о Владимире Владимировиче и его энтомологических увлечениях) и как вымышленный персонаж.

...отличная монография Чистовича... — Имеется в виду книга петербургского военного врача-патологоанатома Якова Алексеевича Чистовича (1820–1885) "История первых медицинских школ в России" (СПб., 1883).

Катальпа — дерево семейства бигониевых с сердцевидными листьями и белыми цветами в форме колокольчиков.

Американская славка — небольшая певчая птица семейства воробьиных с ярким оперением.

Ayzenhauer (искаж.) = Eisenhower — Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (1890–1969), американский генерал и государственный деятель, президент США в 1953–1961 гг.

Я могу вам сказать точно, какой был день... — Вопросу, который обсуждают Болотов и Пнин, уделено большое внимание в лекции Набокова об "Анне Карениной", где начало романа тоже датируется 23 (11) февраля 1872 г., причем главным аргументом является упоминание в газете, которую читает Стива Облонский, об отъезде в Англию австрийского посла при Сент-Джеймском дворе (то есть королевском дворе Великобритании), графа Фридриха Фердинанда фон Бейста (1809 — 1886). Словно отвечая на недоуменный вопрос Варвары, Набоков говорил, обращаясь к студентам:

"Некоторые из вас могут удивиться, почему мы с Толстым упоминаем подобные пустяки. Для того чтобы волхование, вымысел казались реальными, художник иногда помещает их, как это делает здесь Толстой, в некоторую определенную, особую историческую систему отсчета, ссылаясь на какой-то факт, который можно проверить в библиотеке, этой цитадели иллюзий. Случай с графом фон Бейстом способен послужить отменным примером в любом обсуждении вопроса о так называемой реальной жизни и так называемом вымысле. С одной стороны, у нас имеется исторический факт: некий фон Бейст, государственный деятель и дипломат, который не только существовал, но и оставил после себя два тома мемуаров, где он подробнейшим образом вспоминает все остроумные реплики и политические каламбуры, произнесенные им по тому или иному поводу за долгие годы его карьеры. А с другой стороны, перед нами Стива Облонский, которого с головы до пят создал Лев Толстой, и вопрос заключается в том, кто из них двоих — "реальный" граф фон Бейст или "вымышленный" Стива Облонский — более существен, более реален, более достоверен. Несмотря на свои мемуары — многословную, нудную книгу, изобилующую мертвыми штампами, — милейший фон Бейст так навсегда и остался неясной и условной фигурой, тогда как никогда не существовавший Облонский — вечно явствен и бессмертен"

(Lectures on Russian Literature. P. 213).

Отметим, что календарные даты, установленные Набоковым по мемуарам фон Бейста и газетной хронике, близки к "вымышленным" датам третьей главы "Пнина": пятница, 11 февраля (по старому стилю) — начало "Анны Карениной"; суббота, 12 февраля (стиль неизвестен) — день выхода газеты, прочитанной Пниным (см. коммент. к с. 225).

Сэмюел Слоун (1815–1884) — американский архитектор, выпускавший каталоги типовых проектов вилл, коттеджей и ферм: "Образцовый архитектор" (1852), "Американский дом" (1861) и др.

...есть существенная разница между духовным временем Лёвина и физическим временем Вронского. — Пнин кратко формулирует одно из основных положений лекции Набокова о временной структуре "Анны Карениной" (см.: Lectures on Russian Literature. P. 194–198).

Виланд Христоф Мартин (1733–1813) — немецкий прозаик, поэт, критик, близкий к Гете и Шиллеру.

Коцебу Фридрих Фердинанд фон (1761–1819) — немецкий драматург и романист, крайний реакционер, агент Священного союза. Его пьесы и романы, отличающиеся сентиментальностью и мелодраматическими эффектами, пользовались успехом у "читающей черни", особенно в Германии и России.

Симона де Бовуар (1908–1990) — французская писательница-экзистенциалистка, сподвижница и многолетняя подруга ненавистного Набокову Ж.-П. Сартра, автор модной в 1950-е годы книги об эмансипации современной женщины "Второй пол" (1949).

...в убеждении, что Стендаль, Голсуорси, Драйзер и Манн великие писатели. — В системе эстетических взглядов Набокова все перечисленные писатели относятся к ряду "второсортных литераторов" с непомерно раздутой репутацией, а их социальные и философские романы представляют собой образцы пошлой литературы "Больших Идей".

Дордонь — департамент на юго-западе Франции.

"Исторический и философский журнал Гастингса" — мистификация.

Генерал Буланже Жорж (1837–1891) — французский военный и политический деятель, лидер шовинистического движения, которое явилось одним из источников фашизма. После неудачной попытки захватить власть покончил с собой.

...во время затянувшейся игры в прятки... — Подобный эпизод описан в автобиографическом рассказе Набокова "Обида", вошедшем в сборник "Соглядатай" (1938).

"Йосемитский отель". — Речь идет о Йосемитском национальном парке в Калифорнии (по названию живописной долины Йосемити); многие американские школьники и студенты проводят там летние каникулы, подрабатывая в отелях и ресторанах. Пнин, конечно, не в состоянии правильно выговорить это трудное слово.

...*Ван-Эйковым каноником...* — Имеется в виду картина Яна ван Эйка (см. коммент. к с. 243) "Мадонна каноника ван дер Пале" (1436, Коммунальный музей в Брюгге). Пожилой каноник, заказавший эту картину, изображен коленопреклоненным у подножья трона Девы Марии, рядом со своим покровителем святым Георгием.

Наветренные острова — часть Малых Антильских островов в Карибском море.

Маккарти Джозеф (1908–1957) — американский политический деятель, инициатор и руководитель кампании по борьбе с коммунистическим влиянием в США, вылившейся в травлю всей леволиберальной интеллигенции.

...по-французски *vair*. — Как объясняет толковый словарь французского языка Э. Литтре, в старину словом *vair* называли беличий мех особой окраски: сизый (*colombine*) сверху и белый с испода. Однако впоследствии оно вышло из употребления, с чем связана нелепая ошибка в позднейших изданиях сказки о Золушке, где его заменили на привычное "verre" (стекло) и таким образом превратили башмачки, отороченные беличьим мехом, в стеклянные туфельки. Этимологически словарь Литтре возводит *vair* к латинскому *vari*us (разноцветный, пятнистый, пегий).

Везерица — пушной зверек, которым платили дань, чаще всего горностай или белка.

"Я всегда полагал, что "колумбины" — это какой-то сорт цветов". — Томас не ошибся. "Колумбина" по-английски — это аквилегия (водосбор), род растений семейства лютиковых с крупными цветами.

Дорианна Карен. — Хотя, судя по контексту, это должно быть вымышленное имя, перекликающееся с Анной Карениной и Дорианом Греем, любопытно, что среди второразрядных голливудских актрис двадцатых годов промелькнула одна с похожим псевдонимом: Анна (Диана) Карен.

Фогельман — значимая фамилия (нем. — птичник).

"Мы сидели, мы пили..." — В оригинале здесь записанный в строчку катрен пятистопных ямбов с точными перекрестными рифмами. Тэйер пишет стихи, которые в буквальном переводе значат следующее: "Мы сидели и пили, и в каждом было заперто на замок его собственное — отдельное — прошлое, и будильники судьбы у всех были поставлены на разный час, — когда, наконец, кто-то вздернул запястье (т. е. посмотрел на часы), а какие-то супруги обменялись взглядами (т. е. решили уходить)".

"Том — маленький чистильщик сапог, или Дорога к успеху" — роман американского писателя Хорейшо Эджера (1832–1899), автора более 130 книг о детях, упорным трудом проложивших себе путь в жизни.

"Рольф в лесах" — книга известного канадского писателя, путешественника и естествоиспытателя Эрнеста Сетон-Томпсона (1860–1946).

"Комптоновская энциклопедия в картинках" — детская энциклопедия, выходящая в США почти ежегодно с 1924 г. (по имени издателя, Фрэнка Элберта Комптона, род. 1874).

Коцебу Фридрих Фердинанд фон (1761–1819) — немецкий драматург и романист, крайний реакционер, агент Священного союза. Его пьесы и романы, отличающиеся сентиментальностью и мелодраматическими эффектами, пользовались успехом у "читающей черни", особенно в Германии и России.

Гауптман Герхарт (1862–1946) — немецкий драматург, автор широко известных драм "Крысы", "Потонувший колокол", "Перед заходом солнца" и мн. др. Объединяя Гауптмана с доносчиком Коцебу, Набоков намекает на его сотрудничество с нацистами в последние годы жизни.

...к нашему розовокаменному дому на Морской... — Автобиографическая подробность. На фешенебельной Большой Морской улице, дом № 47 (ныне улица Герцена), находился особняк Набоковых — "трехэтажный, розового гранита... с цветистой полоской мозаики над верхними окнами" ("Другие берега").

...пьесы Артура Шницлера *"Liebelei"*. — Имеется в виду пьеса австрийского драматурга и прозаика Артура Шницлера (1862–1931) *"Забава"* (1896), неоднократно переводившаяся на русский язык. В 1918 г. в Ялте Набоков играл в спектакле по этой пьесе. Главный герой *"Забавы"*, Фриц Лобгеймер, погибает на дуэли с мужем своей возлюбленной, безымянной дамы, которая ни разу не появляется на сцене. Незадолго до гибели он заводит легкую интрижку с дочерью скрипача Вейринга Кристиной, но то, в чем он видел лишь *"забаву"*, становится для нее сильной и страстной любовью. Вторая пара возлюбленных в пьесе — друг Фрица Теодор Кайзер и подруга Христины Мици Шлагер, — это, по контрасту, веселые, циничные, обаятельные *"прожигатели жизни"*, не принимающие своих отношений всерьез.

Бедная Лиза! — ироническая аллюзия на одноименную чувствительную повесть Н. М. Карамзина.

Письмо случайно уцелело в моих бумагах. Вот оно... —
Четырехстопный ямб и рифма (в оригинале перекрестно зарифмованы все четыре стиха) прямо указывают на "Евгения Онегина" как источник пародии. Ср.: "Письмо Татьяны предо мною;/Его я свято берегу, Читаю с тайною тоскою/ И начитаться не могу" (III, XXXI) — и особенно: "Стихи на случай сохранились,/Я их имею; вот они: /"Куда, куда вы удалились,/Весны моей златые дни?" (VI, XXI).

"Сухие губы" — реминисценция двух стихотворений Ахматовой из сборника "Четки" (1914). Ср.: "О, если б знал ты, как сейчас мне любы/
Твои сухие розовые губы!" ("Не будем пить из одного стакана...") и первую строку стихотворения "Плотно сомкнуты губы сухие".

великого писателя — то есть Н. В. Гоголя, который умер 21 февраля (4 марта) 1852 г.

...в районе восьмидесятых улиц западной части города... — Видимо, там же, где Пнин жил и раньше (см. коммент. к с. 214).

Гонерилья — старшая дочь короля Лира в трагедии Шекспира.

Solus rex — одинокий король. Так должен был называться незаконченный роман Набокова, над которым он работал в конце тридцатых годов. Его вторая глава под тем же заглавием была опубликована в 1940 г. в журнале "Современные записки".

"Колыбельная" (1889; др. название: "Мадам Рулен") — картина Винсента Ван Гога, существующая в шести вариантах. Один из них находится в Бостонском музее.